

*От автора бестселлера  
«Анти-Ахматова»*



---

# ПУШКИН

---

*Тамара Катаева  
Ревность*

## Annotation

Тамара Катаева — таинственный автор двух самых нашумевших и полемических биографий последнего десятилетия — «АНТИ-АХМАТОВА» и «ДРУГОЙ ПАСТЕРНАК». Virtuозно объединив цитаты из литературоведческих и мемуарных источников с нестандартным их анализом, она стала зачинательницей нового жанра в публицистике — романа-монтажа — и вызвала к жизни ряд подражателей. «Пушкин: Ревность» — это новый жанровый эксперимент Катаевой. Никто еще не писал о Пушкине так, как она.

(Задняя сторона обложки)

*«Пушкин: Ревность», при всей непохожести на две мои предыдущие книги, каким-то образом завершает эту трилогию, отражающую мой довольно-таки, скажем прямо, оригинальный взгляд на жизнь великих и «великих». «Анти-Ахматова» — это «мысль народная», «Другой Пастернак» — «мысль семейная», а роман о Пушкине — это попытка ответить на вопрос, что такое великие вообще, зачем изучать их жизни, зачем о них узнавать и что делать, если эти великие, не спросясь никого, встали на вашем жизненном пути. Чья жизнь в итоге становится главнее: их или ваша собственная?*

*Тамара Катаева*

- 
- [Тамара Катаева](#)
-

# Тамара Катаева

## Пушкин: Ревность

### Действующие лица:

**Пушкин**

**Наталья Николаевна**, его жена

**Александрина и Екатерина**, ее сестры, Гончаровы

**Дантес**

**Старик Геккерн**, голландский посланник, его приемный отец

**Барон Жозеф-Конрад д'Антес**, родной отец Дантеса

**Елизавета Хитрово**, мать Дарьи Фикельмон, австрийской посланницы, светской львицы. Дочь Кутузова, поклонница Пушкина

**Идалия Полетика**, незаконнорожденная дочь, светская дама

**Кавалергарды**

**Николай I**

**Князь Петр Вяземский**, друг Пушкина, поэт

**Чаадаев**, мизантроп и философ

**Раевский**, бездельник

**Баратынский**

**Анна Керн**, адресат любовной лирики Пушкина

**Гоголь**

**Vande joyeuse**

**Дипломаты**, дамы, помещицы

**Маски**

**Инна и Роман**, иностранцы в Праге

26 октября 2008 года

АЛЕКСАНДРИНА: Если кому-то придет в голову обратиться мыслию ко мне, Александрине, баронессе Фризенгоф, владелице Бродяж, то я покажусь ему иль ей воплощением водевильной, логической ревности. Что видела старая девушка, что ей делать в жизни было, кроме как поревновать, позавидовать, посравнивать! А кто это встал между мною и Пушкиным? Только время. Он, как известно, — в вечности, а НАМ — так ведь я думаю в своих ревнивых мечтах? — НАМ С НИМ не далось каких-нибудь парочки десятков лет.

Я была при доме, жила в квартире, на меня не надо было тратить время, выкраивать график, раздумывать: ехать или не ехать, видеться или не видеться, я всегда была под рукой. Обо мне приходилось думать постоянно, потому что я была постоянно на виду и постоянно произносила слова. Открыл глаза — я прошла по коридору, попросил передать хлеба — я сказала словцо, искал книгу — я оторвалась от своего чтения, он пришел с мороза — от меня пахло печеными яблоками, которые я смотрела на кухне. Я уже была старой девой, меня жалели, меня боялись плохо одевать и жалеть денег на мои театры и выезды. У меня всегда были духи. Я могла показать, какой бывает женщина в семье, но без детей, только с тонкой мыслью в хорошо причесанной головке.

Он не мог больше писать стихов. Такое случается с каждым, они потом все это увидят, ему нужен был специальный период для накопления сил, для оглядки по сторонам. Прелестницы еще появлялись у него бы время от времени в его стихах, он ничего с этим не смог бы поделаться до смерти, и ему бы их прощали. Он пережил бы какой-то кризис, он переполнился бы паром, бурлением, силой, он написал бы что-нибудь большое и прозой — я не могу читать новейших романистов: как все было бы по-другому, останься жить Пушкин. А большая, настоящая, глубокая, не

посетившая его любовь — не нашедшая себе места, где бы к нему приткнуться, — за все это время разрослась бы рядом с ним. Не дала бы ему шанса отвертеться — тайна, живущая в доме тайна!

Смешно, никто бы не смог сказать, хороша я была или дурна. Сейчас все считают, что я карикатура Таши. Но все не так. Полюби меня Пушкин, все сделали бы и меня красавицей. А ему и вообще многого не надо. Красоту моих глаз он видел бы по привычке к красоте глаз Таши. Да и Таша бы подурнела. Случилось же с ней это. Впрочем, как не подурнеть, став генеральшей?

Таша умерла в пятьдесят один год. Мне восемьдесят, и я все живу. Моя соперница ко мне великодушна.

\* \* \*

Он любил ее не выжегшей саму себя любовью. Разве так любят?

Страсть сожжет все вокруг себя, всю органику. Как в школьном опыте — и останется только минеральный остов: твердый, жесткий и — хрупкий. То, без чего не живет любящий.

Вылюбивший все вокруг себя после легко погибнет сам и отдаст на гибель любимую, золе нечего желать.

Пушкин же варился в пахучем, свежем, здоровом бульоне своей любви, и для поддержания ее ему были необходимы тонкие талии, ножки, губки, локоны и ланиты — не существующие в природе, но вполне реальные в его поэзии и в такой же умозрительной любви. Важнее всякой Натали были голоса посторонних, каждый чужой и далекий человек был равновеликим Наталье полюсом. Кто что сказал и какой вынес приговор. Отношения с каждым человеком были напряжены и все жизненно важны, он был как

подвесной мост, зависящий от каждого из тросов. Когда в одном месте тянули гайку, для него ослабевала вся конструкция. Он не хотел, чтобы его признавали главным поэтом России, ему надо было, чтобы он был всем. Стал всем, когда стало не жалко. До этого следить приходилось самому.

А так, в теплом кругу семейной жизни, жена была важна, и лучше ее нельзя было и желать. Кого, какую, скажите на милость? Неужели додумаются до того, чтобы упрекать ее в том, что она не была ему вровень: в сочинительском ли деле, в издательском, быть может, в книготорговом? Нет уж, Пушкин на таких не женится.

Он посмеялся над каждой своей пассивностью: над кем — в стихах, над кем — в письме другу, над кем — недругу.

У него не было любви в жизни. Не было сил, не было времени, ни на какую утаенную любовь не хватило досуга.

**ВЯЗЕМСКИЙ:** Пушкину подарили все, даже моцарство. Никто не травил Моцарта в его тридцать семь, никто не мешал Пушкину оправиться от раны. Кто-то сохранил их такими, какими они ушли.

Есть литературные воспоминания второй половины девятнадцатого века. К писателю — не помню, москвичу или петербуржцу, — приезжает родственник, долгие годы, лет двадцать, проведенный за границей. Приезжего угощают театральной премьерой. Во время съезда он указывает на пожилого господина, живчика, желчноватого, всех знает, на всех зорко смотрит, вдовольно потертом, но щегольском сюртучке, с седыми, будто тоже чуть припыленными бакенбардами и редкими бойкими кудрями. Маленький, с оттопыренными синими губами. Гостю все интересно: «Это кто такой?» «Это? — шутит старожил. — Пушкин, Александр Сергеевич Пушкин. Время!..»

Такое ему оставить? Нет! Не по-пушкински, нам — другое!

Мне — похоронить всех детей, ему — даже сирот сиротством не ошеломить, малы слишком. Девочки породнятся и с Романовыми, и с Виндзорами, весь род расплодится по миру, яко семя Авраамово. Цари свои фамилии прекращают, а месье Pouschkine'у прекратиться не дают. У царя Алексея Михайловича было шестнадцать детей. Как трон достался четырнадцатому? У Петра Алексеевича сколько ни жен да ни наложниц, а сыновья извелись. Даже чуть-чуть его крови — она ли досталась Павлу Петровичу? Ну а потом уж строго, как столоначальники какие, без запинки семейным счет ведут. А те — уже несомненные, неизвестно чьи — норовят на пушкинских разведенных дочках жениться...

\* \* \*

Лев Толстой — не читатель, а писатель. Писателей особенно не жаловал, в учениках не ходил. Самую пленительную героиню мировой литературы — ну ведь правда, живописнее и понятнее никто не описал, — назвал Наташей. «У Ростовых именинницы Натальи — мать и дочь». И Пушкин теще пишет с большой складностью слога: «Поздравляю с двадцать седьмым и сердечно благодарю за двадцать пятое» — именины и рождения жены Натальи Николаевны и матери ее Натальи Ивановны. Еще и дочка у него Наташка была. Толстой мог запомнить. А там — и за роман. Типаж-то у него несколько лет перед глазами ходил, свояченица. Прельщал прелестью, переливался, соединился с веселым именем — «Пушкин» и прелестью главной русской красавицы. Не без Пушкина! А с Анной Карениной и того проще — у мелкого уездного

чиновника сожительница под поезд бросилась, Лев Николаевич ходил смотреть, может, чем и помог, и тут же на дворянском балу в Туле увидел дочь Пушкина. Приехал домой и рассказывал своим, какие у нее *удивительно породистые* завитки на затылке. Факт литературный, известный. Даже Толстой Пушкиным себя подстегнуть хотел.

*Выходит фигура, прикрывается маской Пушкина.*

Нам придумают какую-то общую стилистику, нас будут каким-то особым образом рисовать — времена будут идти, каждому оставить то многообразие, в котором они на самом деле жили — так же, как и всякие другие, — это была бы слишком большая путаница, каждому будет оставлена только одна манера. От нас тоже что-то возьмут, как им, потомкам, покажется, характерное — кто знает, угадают ли? — скорее всего, наши цилиндры, крылатки, воды каналов — собственно, все найдут в моих рисунках, кого им брать за законодателя мод, как не меня? Как я рисую, так и они будут рисовать.

А человек, который в сильный ветер, холодный и сырой, дикий, примчавшийся из чухонских ледяных торосов, скакавший там, ополоумев, над плоской, пустынной и высохшей от стужи тундрой, вот в этом ветре жили и двигались все, не знаю, замечали ли, — в этом ветре и слякоти идет человек по улице этого нового города — кому он нужен? Все ждут, когда он умрет и его эпоху можно будет как-то назвать, а в идеале — любоваться ею.

Я, Пушкин, не имею права цепляться за жизнь, я должен оставить им эпоху, как игрушечку.

Наш город — новый, ему едва сто лет. Старушка Москва — простая, неопрятная от старости, с красавцем Кремлем на голове, как с кокошником в жемчугах,

который по праздникам, достав из сундука, надевают не на румяную молодуху невестку, а на свекровь. Нарядна и она. Красуется Кремлем Москва, а необъятное ее тело — как залепленное, деревня к деревне: изба, барский дом, трактир, церковь. Каждая усадьба — себе хозяйка, подбираются друг к другу, разбегаются. Девичье поле, Ходынское, Разгуляй, заставы, монастыри — как будто большую богатую губернию взяли и утолкли на площади одного города, вот и Москва, прямо как в сушильном барабане уминали, недаром кругами идет.

Кто ж Москвы не понимает, не считает за свою?

Не стать бы пусто месту Петербурга! Он прекратиться мог в любой день, в любую минуту. Вот махнул бы на него рукой царь Петр Алексеевич, вот съехала бы к себе в Курляндию матушка Анна Иоанновна, вот изумилась бы абсурду держать и выкармливать на гнилом болоте белого слона Екатерина Великая — прилепленную сверху, сбоку к государству столицу. Где это в просвещенном мире СТОЛИЦЫ себе строят, да по иноземному образцу? Весь город на города поделен, реками да каналами, ни одного моста. Для России, где сама природа диктует необходимость следования только закону выживания, эти искусственные трудности, необходимости — дополнительного освещения, защиты от дополнительного дождя, лишнего ветра, излишнего холода, прямых проспектов, когда хорошо бы тропинкой путь сократить, камень там, где теплее и уютнее было бы с досками и рогожкой, широких лестниц и зияющих входов, потребности в бесконечном освещении зимой и — головная боль, лихорадки, нервные расстройства нескончаемыми белыми ночами и слепыми, освещенными нежарким, негреющим, заброшенным в зенит неродным солнцем — днями. Ах, что за жизнь!

Отнято родное — а к нему и не тянутся. Если я, Пушкин, все главное о Петербурге написал — кто после меня о Москве будет писать? Так, поусмехаться будто бы по-доброму над стариной, над городом, где по французской улице «коровки» бродят...

ХИТРОВО: Я одна хочу, чтобы он стал еще меньше, чтобы поседел еще больше, чтобы серее стало лицо; у таких подвижных, гримасливых, все берущих к сердцу — ну как не заложиться носогубным складкам, не закривиться — надо не надо — рту, не расчертиться морщинам на лбу! Вот-вот блеск его глаз пожижеет, будет жидким ручейком литься на всех, кто встретится, не быв заинтересованным на самом деле. Не любя, не восхищаясь. Он не будет вечным юношей, он рано станет старичком, он устанет со всем и всеми бороться и захочет стать юродивым. Ему будет не доставать святости. Он честолобив. Когда ты прожил всю жизнь гением, великим поэтом, когда рядом с тобой поставить некого, когда ты сам о себе можешь говорить не стесняясь, все что угодно, самые смелые эпитеты — все будут только умиляться. Умиляться даже не на него — на себя. Что вот они, такие злые и завистливые, неуступающие, все добровольно, с радостью и поклонами, отдают Пушкину. Даже они могут быть великодушны, даже смиренны, даже они — преклонить колена. И что останется Пушкину после всего этого желать? О всемирной славе тогда еще не задумывались, французов уважать себя заставить не получится, ему не захочется пробивать эту стену — ведь от французов нечего ждать, что они станут платить, а от этого правила Пушкин точно уж не отступит. Он знает, сколько стоит квартира и сколько — выезд, и кухня, и учителя для детей, и сколько платьев надо жене, и, может, их отпустят всем семейством года на два уехать за границу — ну где здесь ловить

мировую славу, ему нужны верных пятьдесят тысяч годового дохода. И, надорвавшись, в какой-то миг, стремясь поверх сил в какие-то выси, надо будет показать, что он, Пушкин, выше всего, что он все-таки что-то еще более высокое, высшее... Что? Не будет ли он сравнивать свою славу со славою Серафима Саровского? Не будет ли думать, что та переживет его? Что писатели после него начнут смотреть не на царя, не на жену министра, а на отшельников и подвижников, не на военных инженеров, хотящих карточный куш сорвать, а на нищих студентов, взвешивающих душу бессмертную свою и грехи, мечтаниями о которых их душа отягощается, грехи — по весу золота.

На святость сил точно не хватит, нервы сдадут, он станет по мелочи юродствовать. Этот путь — довольно простой, легкий в работе, сильно освобождающий от обременительных условностей, больше времени дающий потратить на себя.

Ну, тут и я, с круглыми желтыми плечами.

ЛИЗА (голенькая): Всегда есть какой-то знак, которым можно себя пометить: я еще женщина, я еще хочу нравиться. Возможно, какие-то вдовы римские матроны подбирали как-то по-особому, по-девичьи складки на плече — и это тоже было не по возрасту, над этим смеялись, но зеркало, в которое всматривались с исступлением, не могло не начинать своей магии: непрерывный, неотрывный взгляд собирал широкий поток сознания в узкий луч, как свет целого яркого солнечного дня круглая линза собирает в жгучий, жгущий, острее ножа и тоньше спицы, смертоносный луч, от которого может выгореть целый город. Так страстный, в ужасе перед неизбежным цепляющийся за невидимые постороннему признаки молодости взгляд сосредотачивается до силы смертельного оружия — губит только себя самое, — и зеркало поддается.

Плавится, расходится кругами, волнами как от брошенного камня, заманивает в зазеркалье — и черты рябят в зыби магического зеркала, поднимаются щеки, распрямляется шея, вспухает кожа, приоткрываются губы. Ровней и острее становятся зубы, пушистее брови, мягче волосы, короче носик, свежее колер, кажется, даже аромат яблок — аромат чистой, молодой кожи — с легкостью пара струится вокруг зеркала, — ну а плечи, плечи-то — они, и без зеркала видно, — они круглы, полны, аппетитны, они не изменяют, они мое украшение, они все еще хороши. Мне не пристало их скрывать. Пусть стареет Пушкин, а я буду молодеть.

**МАСКА:** Втянувшая в придворный плен, исковеркавшая судьбу. Наталья. Или он сам хотел попасться в этот плен?

**НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА:** Зловещие январские дни. Сначала был январь 37-го года — и сама по себе цифра какая-то страшная, корявая, такую нигде красиво не напишешь, ни округлости одной, ни благообразия, для девятнадцатого века — тысяча — восемьсот — тут уж одно благолепие, бесконечность, благополучие — и на тебе, сучками, закорючками едет оборванная тройка и страшный топор семерки. А ведь потом каждый год — январь. Как ни отвлекись мыслью, как ни засобирайся куда на вечер или к себе ни жди — а темнеет всегда в январе рано, еще столько времени — до гостей, до людей, до почты утренней — и сумерки заходят, и вспоминать приходится все одно и то же. Как ни говорят про меня, что я мужа не любила, может, и не любила, я уже сейчас не помню, помню только, что перегруженно с ним было, это правда, хотелось бы чего-то более гладкого, простого — хоть мне не выбирать, ни к чему и жаловаться, — но умер он у меня в доме, я была ближайшим к нему человеком, все его

предсмертие проходило через меня, докладывали о каждом вздохе и хрипе — мне, да еще требовали рассудительности, я знала, что он умрет, и вот пять этих страшных январских вечеров — у нас ведь в январе петербургском — всегда вечер, если уж не ночь, — надо было прожить. Знать, что его на ночь увезут в церковь — еще страшнее.

Нет, других тоже увозят в церковь на последнюю ночь, но увозят-то днем, когда вдове еще на солнечный свет взглянуть можно, а ночью хватится: где он? — а он в церкви. Ну, так и заснуть можно, спокойнее как-то, все лучше, чем когда в зале, посреди комнаты, стоит...

Мне за что — к ночи, в метель, когда и так все опустело, когда страшно было глаза скосить — приходят... разговаривают... повезем... куда возят покойника к ночи?.. это невиданное что-то, так покойников возить. Их даже на кладбище навещать полагается до полудня, живым среди них ходить, как дело не к свету идет, не полагается, а здесь — спаси и сохрани — покойника между живыми носить на ночь собрались. Кого за руку схватить, кому пожаловаться, кому велеть решить?

На все Пушкин был.

И оставил мне это — январские вечера. До конца дней моих.

ИННА И РОМАН: И не только на ее век хватило: избави Бог к Мойке в сумерки со стороны Летнего сада подходить. Там, впереди, будет шуметь Невский и светиться, там — Дворцовая площадь, главные мосты, важные государственные здания строительной неистощимости и мощи, здесь — историческая застройка, цепочки трехэтажных домов, бельэтажи, тонкая легковесная ампирная лепка, частный сектор. Речка изгибается, фонари меркнут, окна почти не светятся, метет, метет, бьется пурга о гранитные

парапеты, легкие автомобили удерживают дорогу едва, сани, небось, заносило бы — от ветра. От обледенелого снега, от нервной рысцы везущих покойника лошадок... Гляди, заворачивают... Везут Пушкина в Конюшенную церковь — страшно, жутко Наталье Николаевне одной дома оставаться, как безумие — кажется, что с Пушкиным-то хоть и в гробу, а все как-то уютнее, а уж как посчитать, прикинуть по времени? Везут ли его или уж довезли, да как им едет по темному городу... какое-то язычество, какая-то магия — мертвое тело не закопать сразу, там, где удостоверились в его смерти, а возить, показывать, давать смотреть, поднимать, выносить, заносить, в специальные костюмы и туфли обряжать. Кружить и кружить, везти ночью, везти днем...

\* \* \*

Нас, трех сестер, отсекали друг от друга, как ножом. Меня от Таши — Пушкиным, Катю от нее — Жоржем. Не потребовалось ни кровосмешения, ни предательства — только то, что нельзя преодолеть. Какие-то дети, подростки будут знать, что Пушкин погиб из-за жены. И имя Кати будет проклято, и мое — презираемо. Интересоваться нами будет значить опуститься в какую-то муть. День, когда Таша написала нам о своей затее забрать нас в Москву — будет в пьесе сопровождаться глухим тревожным перебором низкого, барабанного звука. День, когда нас впервые повезут по Петербургу, — этой сценой откроют последний акт. Все начнется с этого. А был ли кто-нибудь из них, этих драматургов, в Полотняном Заводе? Богатейшее в России имение — леса, дома в восемьдесят комнат, каскады прудов... — одно слово, майорат, никаких выделений младшенькому, седьмому — не считая

девочек, с их тоже обязательной, замуж-то надо! долей — сыночку. Это вам не Петербург — Калуга! Столько леса, а мрачности никакой, горы, песчаные откосы, глубокие реки с драматическими берегами, имение все по старому, богатому заведению, солнце, морозы, летом травы, клумбы, мы в обнимку, мы даже не смели мечтать вслух, мы знали, что будет у нас все хорошо, мы считали себя одинаково красивыми, читали Пушкина. Сватовству тому маменька не была довольна, уж больно переборчиво он палец глубоко запустил, поддел сразу Наташу. Остальное ногтем отодвинул — и наша участь тем решилась. В Москве — не Петербурге (я уж не про Калугу), в Петербурге мужчин в два с половиной раза больше, чем женщин, и все военные, то есть женихи, — в Москве у старших невзятых приговор подписывается сразу. Что маменьке сочинители! Да и Наташе. Да и нам — мы все ждали не Пушкина. Я мечтать о нем стала, только когда остались мы наедине в его полном доме, когда там было все, и ничего ему не надо, когда он только хотел жить своей гениальной жизнью — и с самым чистым восторгом я хотела бы за этой жизнью следить, следовать ей, помогать и получить его признание. Какие б ни были его холостые привычки — это такая малость, я с восторгом ждала той жизни, которая могла открыться предо мной.

Ничего этого не случится. Мы обе с Катей станем баронессами, и жизни наши покроются мраком.

**BANDE JOYEUSE:** Он слишком красив, он предназначен был стать гомосексуалистом. Красота — это только желание найти в себе эту красоту и не потерять ее. Что делает человек, если видит, что ростом вышел, что лицо крупно, чисто, черты ясны, окрашены выразительными цветами — понятно, что красив? Большинство — что мужчин, что женщин — живет себе и живет, карьеры не строит. Как видишь

красавца: стоп, для кого он красив? Для себя? Ну да, но что он за эту красоту хочет? От кого? От женщин ли? Как правило, тешатся многие, много, потом скупятся: даю многое, а что достается взамен? Не слишком ли жадно за него хватаются женщины, получает ли он столько же? И находит тоска. Он — донор, благотворитель, а кто бы осчастливил бедного его? Жизнь длинна. Жизнь красивого мужчины — короче женской, он все этапы проходит мгновенно, какой-то инстинкт наслаждения выводит его сумасшедшей скоростью в открытый мир, из затхлости женских корыстных захватов — в полный, открытый мир вседоступности. А соль мира, господа, властители, — мужчины. Он хочет быть востребованным там, он хочет принадлежать лучшим и владеть лучшими.

Тут мы его и ждем.

Тут мы его и дождались.

МАСКА: Дачи московские и петербургские. Порядочный человек отъезжает к себе в подмосковную. Если это близко — то дача, остальное — мужицкие избенки, нарубленные доходные поселки. И было-то их малое количество, и, как все рациональное, искусственное, просчитанное, воспринялось с невосхищенным изумлением, попортилось, заигралось — и пропало. Петербургские дачные линии с финскими домами стоят и в двадцать первом веке, с огромными стеклянными террасами, высокими потолками, роялями и соснами за окном. Дворы просторны, правильной формы, песок, сосны и изысканная, несеяная, подсосенная трава. Дворы, в которых хорошо играть девочкам в Версаль, мальчикам — в наполеоновские войны и постигать военную науку. В подмосковных — играть в заговоры, в народный бунт, в измену. В Петербурге в каждом доме, и в городе, и за городом, — сарай, или сараи — каретные, дровяные,

хозяйственные, для других целей, всегда ясных, в Москве — все сарай. Сарай и лужи. Петербургское болото, как только его высушили, выступает песком, луж нет. Гладкие дорожки, стянутые корнями. Какое здоровое, спортивное, элегантное развлечение — велосипед. Какое дивное зрелище, когда на каменноостровскую лужайку, под лессирующим светло-лимонным незаходящим летним солнцем, выезжают на лучших лошадях сестры Гончаровы с шапероншей, мадам Пушкиной, прекрасной и беременной. На каждую эпоху свой идеал.

На пушкинскую — он, маленький и остроумный, — все маленькое, Преображенские правофланговые на пике не удержались, типаж эпохи определил Пушкин. То есть он не мог не быть маленьким в те времена.

Дачные поселки — на островах, в Царском, по Петергофской дороге — легко превращались в дворцы под открытым небом, дачники — в двор, прогулка по аллее — в парадный выход. Мечтал ли кто действительно о чистом воздухе, в век до бензина, или тяга к нему была делом воображения и эстетической утомленности — каменное и перпендикулярное начинало надоедать и хотелось только одной константы — линии горизонта, никогда не изменяющей чухонской горизонтали, — и тонкого северного рисунка куш?

МАСКА: Дача в Царском Селе, о девяти комнатах, в два крыла. Посередине — сердцевина, полная света и воздуха решетка обильного остекления, высокие потолки, тонкая летняя пыль по подоконникам — за один час войдет в щели, влетит в отворенные створы — пыльца, бесконечная желтая сосновая пыльца, приправленная разной цветочной, неизбежная пыль с мостовой — камень, кость, железо разбивают царскосельскую почву в невесомый порошок, который, смешиваясь с воздухом в миллионных разведениях,

образует гомеопатической силы субстанцию — чем меньше в ней материи, тем сильнее действие. Чем дальше от Царского Села — в Америке или в Париже, — тем головокружительнее тот запах. Чем дальше эпоха отстоит от пушкинской — тем несомненной его присутствие, телесное, живое — рядом с туристом, пошедшим пешком на поиски Китаевой дачи — прочь от парка. От дворца, по той дорожке, по которой прогуливался легконогий господин с молодой женой. Турист будет скоро вознагражден — дача Китаевой, нетленная, полная пушкинского воздуха, — скоро возникнет за поворотом, на вечной улице, на Дворцовом проспекте.

МАСКА: Дантес был французом — такого немецкого разлива французом, упорядочившим все свои страсти. А Пушкин, с лицейской кличкой Француз, был гораздо французистее его, как то повелось французам описывать — более легкомысленным, более поверхностным в любви, ловчее на словцо, чернявее и носатее, мельче статью. Белокурый гвардеец Дантес, влюбившийся в замужнюю даму так, что готов был УВЕЗТИ ее — в другую страну, в безвестное будущее, — начинать карьеру с таким внесемейным положением — подходящих для таких приключений стран на карте Европы было мало, поставить на карту положение приемного отца — хорош посол, которого сын в стране пребывания позорит живое воплощение национального духа и украшение культурной традиции. Старый барон завещал ему все состояние — и мог лишиться всего при жизни. Пушкин так не влюблялся никогда. Бессчетные замужние дамы, — по которым страдалось еще лучше, поскольку страдание было конкретным, сердце знало, какой кровью наполнялось, сжимаясь впустую, руки знали, почему они сжимаются бессильно и что из них ускользнуло, — ни из-за одной из них не хотелось

стреляться или становиться героем бездуэльного скандала, ни за одну не хотелось получать порицания от царя или губернатора, ни одну не хотелось увозить — это значило бы посвятить ей всего себя, поскольку другие поприща будут закрыты, — такая женщина ни разу не отяготила его воли, ни одной он не хотел пожертвовать мечтою дать детям свое имя.

Семейное право основывалось на божественном законе, СЛОВО было всем. Как ты назовешь свое дитя, тем оно и будет. Родится оно от тебя, как человека, имеющего имя и вольного, по образу Божию, свои креатуры самому называть — будет твоим сыном, понесет фамилию твоего отца. Родится от плоти, от выделения, от органа твоего — не посчитают за детей. Не умилялись, не держали ответ.

Это были дети, рожденные матерями.

Таких детей себе Пушкин не хотел — чтобы биться за них, отвоевывать у общества, он был светлым, Пушкин, он не хотел глубокой, выстраданной семьи, отнятой, ничьей — и он должен всем весом своим ложиться на чашу весов, чтобы назвать своею свою семью. Собственно, идти против того, как вещи устроились сами и как их Господь соединил.

Нет, он хотел другого.

**МАСКА:** Зачем Пушкин женился на красавице?

От слабости.

Что-то он чувствовал себя уже не в силах поднять одному, хотел усилить свои позиции. Буду я, и будет красавица, которой я заслуживаю. Может, сначала хотел награды только для себя, как за свои деньги заказывают самое вкусное блюдо, зачем нам простая каша? Просто хотел себя побаловать, взял писаную красавицу, молоденькую, с запасом. Если редко видеть, да понравится друзьям, да подарит детей, да будет слушаться — для начала, до вмешательства рока — кто

знает, где и кого он подстерегает, опасаться надо, Александр Сергеевич был очень опаслив, и в зайца, и в кошку, и в белую лошадь верил очень.

МАСКА: Бог выпускает в мир Богоподобного, подобного себе. Тот легок, как божественное дыхание, могуч, как не нуждающийся в доказательстве своей силы, прекрасен, как то, чем для образца Создатель украсил землю.

И ужасные, несовершенные, слабые и злые люди, смертные люди вокруг — наталкиваются на него, не имеют догадки взглянуть наверх, опознать, тыркают его, как себе равного. Ранят, терзают, возмущаются тем, что он не так реагирует, даже входят в азарт мучительства, впадают в восторг, заметив, что и он утрачивает сколько-то божественного спокойствия и великодушия и страдает от них и даже — о победа! — хочет отомстить.

Конечно, Господь призывает Его к себе назад рано.

Нас даже Богочеловеком не всех проняло, что нам Богоподобные!

ДАНТЕС: Он сам вызвался учить французский язык, я его не неволил — для чего он претендует теперь, чтобы я чтил в нем гений русской словесности? Он хотел обращаться ко мне, к носителю французского языка, и, захоти, я мог поставить его на место уже в этом. Да, он знал его как родной — но родство это прерывалось с отъездом очередной бонны. Мой язык — не родной мне, он — живущий во мне, я каждый день наполняюсь тем, что его жизнедеятельность во мне мне приносит. Я могу щелкнуть Пушкина по носу ежесекундно, потому что мой французский родит мне такого озорного детеныша, который станет со мною заодно и будет служить мне, как амуры. Они, лукавые, веселые, непредвзятые, следят за любым зазевавшимся, и себе, и публике на

потеху поражают его стрелой. Купидончики моего французского языка в любой момент могли поразить Пушкина, полного основательным грузом французской словесности и показной образованности его бонн. Захоти я только. Но, до поры не поняв, что мне шлют вызов, я весь был — вежливость и осмотрительность гостя.

Еще — я не просил его тягаться со мной, кавалергардом. Я не знал, что я, кавалергард — столп светской жестокости и внешнего блеска, а он — гений, пронзительность, тонкость глубокого, необычного взгляда на мир и на нас с вами.

Почему тогда он вышел сражаться со мною?

Он вышел, бряцая медалькой государственного служащего и обдергивая полы титулярсоветнического сюртучка.

Когда и как я должен был всю эту премудрость распознать?

Он-то, Пушкин, все это различие понимал, он бравировал, он закрывал и от меня, и от моих друзей, и от своих свою сущность.

Он не позволил бы сделать скидку на то, что он — народное достояние, он гордился званием частного человека, он истосковался по нему, по его правам — и его обязанностям. Его опасностям.

Я — Дантес, офицер, и каждый может стрелять мне в грудь.

А Пушкин, говорят, — Пушкин, на него нельзя поднять пистолета.

И он пишет моему отцу — Геккерну, положим, но при его, сочинительском, воображении — он разве не может догадаться, что и Геккерн чем-то уязвим, что и ему я дорог — и даже, может, больше, чем родные сыновья родным отцам — любовью, и жалостью, и страстью более болезненной, уязвимой, беззащитной —

так нет. Он пишет: «когда ваш так называемый...», «гнусный...», «бастард», «болен сифилисом...».

Меня взяли в эту страну служить престолу, царю и отечеству — мне поставили в личную обязанность наблюдать, чтобы никто не позволял себе обо мне такие слова писать.

И жена его не должна была разъезжать по подружкам, где подкарауливают ее влюбленные гвардейцы. Таковую жену должно запирать, еще лучше — везти ее в деревню, рожать там еще больше.

Кто такая Идалия Полетика, чтобы ее имя не вычеркнуть из списка адресов, которые влюбленная жена не может посещать одна? Из полусвета вышедшая и усилий не приложившая, чтобы туда не скатиться. Он, душевед, смятение жены должен был видеть, помочь ей — хотя бы не позволять разъезжать, куда ее фантазия влечет. Она хоть и замужняя дама, да довольно молода, должна получать наставление одной дом не покидать.

Он хотел мною со светом счеты свести.

У него любимый герой захотел себе побольше соблазнительной чести, когда б скандал, принесенный им позор был бы в обществе всеми замечен. Пушкин тоже меня выбрал за то, я был замечен. Я был иностранцем. Сыном посланника — это не заставило его по-провинциальному не отмахнуться от меня — мол, зулусы завсегда чужую жену за полагающийся себе по гостеприимству подарок считают — знать, он действительно метил во всемирные персонажи.

Напрасно — я переживу его на пятьдесят лет, стану французским сенатором, а мировой славы своей жертве не прибавлю; потомство его в основном будет жить за границую Российской империи — а в мире он не станет известен; слава ни Мольера, ни Байрона, ни Гете с его равняться не станет.

ИДАЛИЯ ПОЛЕТИКА: Что мы получим, если будем тщательно оберегать наших гениев? Даже, положим, в таком бесспорном случае, как Пушкин. Всем известно, что он — центр нашего века, стержень, вокруг которого крутится все, и никто и не собирается сопротивляться этому пушкиноцентричному круговороту. Мы имеем личную вражду, но с меня требуют отчета.

Когда мне будет девяносто лет и меня будет ждать могила с маленьким, коротеньким, разве что в рамках приличий памятником, памятник — Памятник с большой буквы, украшение славного города Одессы, доминанту в нем на века, знак поэтического, высококультурного, метафизического отличия для нее — будут устанавливать в этом городе, где я буду жить. Я, забыв про петербургские светские гонки, буду считать его своим, своим успокоением — только вот к какому-то ужасному, фатальному совпадению тоже связанным с именем вездесущего кривляки. Здесь они, очень по-провинциальному — в портовом городе могли бы быть и полегкомысленней — от гимназиста до куплетиста чтут имя Пушкина и гордятся недолгими месяцами его бездельного, ловеласного, плодовитого — как был он плодовит почти везде — и часто с большей привязкой к местности пребывания здесь. И только я одна — Я, к которой могли бы приводить маленьких девочек под благословенье, к которой подростки могли бы подбрасывать на крыльцо тетрадки со стихами — здесь какое-то ужасно обильное на стихотворцев и прочих литераторов — к чему бы это? — место, — я одна пойду к его памятнику — все знают для чего: чтобы плюнуть на него. Меня почти понесут — он мог бы быть в таком же виде, нас могли бы снести вместе, я бы плюнула и на него, он, наверное, к старости стал совсем бы ненормальным и уж несдержанным совершенно — он бы и замахнулся тростью.

Он что, считал, что это я устраивала свиданья? Я меньше всего хотела бы быть вовлеченной в такие истории — в истории с такими героями. Какие последовательности в действиях мог предложить Пушкин, что можно б было ждать? Нет, я не такого сорта интриганка. Жаль было Жоржа, жаль ломаку Натали, он просил, она трепетала. Мне ли было им устраивать препятствия, устраивать их жизни, так ли, эдак — и быть виноватой...

МАСКА: Море он воспринял как литературного героя. Не как настоящее море, потому как не было надежды, что это море можно будет еще видеть. Только так — посмотрел один раз — и все. Виданная картинка, как однажды слыханный певец — требуют отчета, оды или элегии. Более или менее свежий тон в твоём устоявшемся восприятии жизни, эпизод.

Тем для литературы много, выбирай, о чем не сможешь промолчать. Как правило, говорить хочется о своей постели, о прошедшей ночи, о вкусе чая, о пирожном, которое к нему подали, о покрое сюртука и несчастной, все не проходящей моде, заужающей и без того негероические плечи. Отношения с женой, с соседом, идущий войной враг, мешающий уехать в подмосковную на это лето. Как здесь может появиться море? Когда — от пристальности мысли, транса, во хмелю ли, привычные, единственные, о которых знаешь все, мысли возносятся, становятся горними, не успеваешь за ними уследить, головокружение, ты действительно не раб и не червь, ты бог и ты царь, тебе некогда об этом думать и на это нет слов, как нет действительных представлений — и ты пишешь о море. Это то море, которого не узнает моряк, не видывал рыбак, которое оставит равнодушною морячку. Такого моря лучше не видеть, описывая его, и обратиться к такому образу продуктивнее, если действительно не

видать прежде никогда. Есть шанс родить что-то сильное, нужное. Настоящее, с которым имеют несчастье жить рядом море, то, которое не в тебе, — рождает тоску. В море не бывает героев. Герой хочет стать победителем, морская профессия — не поддавки с умалишенными. Наступит время, люди и залетают, не могут не придумать такой паровой машины — и воздушным извозом займутся люди дюжинные, расчетливые, не готовые рисковать более других. Есть ли печальнее зрелище, чем вид бесконечного моря? Природа ничем в себе не добра и не тепла к человеку. Равнодушно все, но море — явственнее, осязательней, влажнее — и тем отчужденнее. Пушкину никто и не позавидовал, что он гулял у моря, никто его описаниям с дубами у берегов не поверил. Сказки, только сказки. Ему б поехать, попутешествовать, повидать океаны. Море — что-то для игр тебе, океаны уже любого карьерного романтика заставят потосковать. Он сбегал к морю, как грешок по пятой заповеди опустил, вернулся. Молчал бы про моря, что они ему?

МАСКА: Почему он не захотел остаться гулякой праздным? Тогда бы не спросили. Он ребячество хотел счесть пройденным, задумал путь долгий, поход былинный. Но творить больше шести дней подряд нельзя, надо спохватиться, что время передохнуть. Если б он прикинул свои возможности, решился бы ими не торговать, подумал бы: сколько России еще одного такого, как я, ждатель, дай-ко я сам потружусь, все отпущенное мне сам и использую, сконцентрируюсь, подумаю не о журнале, а — зажмурюсь, притихну, помолюсь, подумаю — и снизойдет на меня еще раз, большим, цельным куском то, что золотым дождем мелким, стихами, проливалось. Неужто такому дадут остановиться? Так и отказался б от всего, стал бы служить иль занялся бы хозяйством, закрыл бы тему

литераторства навсегда — его куда-нибудь бы да и вывело. Ни один литератор в России не бросил пера. Неужель так в себя верили? Не бросали ни зарабатывающие, ни только ищущие, расписывающиеся, мечтавшие мир покорить. Если не умрешь — не возродишься. Никто евангельскому слову — а хотели учить! — не последовал. Глядишь, по воскресении далось бы то, что и Спасителя из сонма пророков выделило, единым Воскресшим сделало. Не хватило духа ни у кого. Пушкин — и тот посчитал, что дело — тему подыскать, форму обдумать, литературным процессом поруководить. Свой ТАЛАНТ — зарыл, недооценил, пренебрег той силой, что была дана — для того ли, на что пустил? Говорят, что — самоубийца. Не только тела — это проще заметить, это в глаза бросается — преступно распорядился и духом, что в него вдохнут был. Пушкину бы было помолчать лет тридцать — и три года. Тогда б знали — и Кто родился, и для чего.

МАСКА: Царицы были плодовиты, императрицы — первые, целый век — бесплодны или малодетны. Распутство, нигилистические нравы, соблазны и моды, шелк, кожаные туфельки, никаких шапочек, головы непокрытые, волосы влажные, сальные, ветер морской. Злоумышленные или неумелые лекари. Одноединственного мальчика не нашлось, как бросились искать. Царь Петр был слаб, началось с него — самый расхожий русский тип мастерового. Долговязый, жилистый, с черными, на все любопытствующими, нечуткими — не имевшими досуга — руками, с длинным туловом, опущенным животом, мешок с болезнями и заразами. Неопрятный, запустившийся, болеющий от всего и всем, от всего отмахивающийся. С него пошло — что даже царица Лопухина, которой одно бы средство было — детей поболее народить, одного головастого и

хлипкого — тип отца слаб, слабых и родит, и оставила. Девка Марта, Екатерина Первая, засучив крахмальные рукава, с неревнивостью профессионалки, с умением работать в команде на общий котел, без щепетильности законных жен — тоже наследниками не обеспечила. Победила ее Авдотья. Последняя русская царица — последним и внук ее был Романов. Пуст, по ее слову, город Петров не стал, а род Петров прекратился. Дочь Анна уже вторыми только родами умерла, Елизавета бездетна, Анна Иоанновна, племянница, тоже бездетна и уж законом была запечатана, Екатерина Великая — какого сомнительного престолонаследника завела — и ничего не смогла больше. Петру бы мокрые моржовые усы — и был бы буревестником настоящей революционной переломки России. Пушкин революций не любил, не ждал. Пушкин — совсем не то, Пушкин был древней, царственнее. И дети у него рождались по-царски — что ни год-полтора. И белая царица при нем трудолюбива, с чревом хоть утомленным, но восприимчивым, безотказным. Неужели бездетные писатели, пусть гении, никогда не задумались о простом телесном уроке, о теплой старческой утехе — потетешкать свое семя? По крайней мере эту заботу Наталья с него сняла, ум свободен, чувства — в деле, детей любил.

**МАСКА:** Петр и Пушкин, пыточники, были жестоки. Император, для разнообразия трудов, слушал стоны на правее назначенных изменников, Пушкин ездил на пожары — ничего уморительней кошек, мечущихся по крышам, не видал. Петр создал эту страну, Пушкин принес ей речи дар.

**ЕЛИЗАВЕТА ХИТРОВО.** Жена российского посланника при дворе великого герцога тосканского: В Тоскану мы приехали в 1815 году, война совсем недавно

закончилась, Наполеон был жив, все так живо помнили его присутствие в Европе, его следовало бы выдумать, если б он не прожил свою эпоху на самом деле, была масса людей, которым он сломал жизнь и весь уклад, были страны, в которых он весело и элегантно намял полосы своих военных дорог, его карьера кружила головы, казалась чем-то доступным, невероятно логичным. За ним все признали право. Победителя его не знал никто. Даже император Александр должен был заботиться о том, чтобы соответствовать своему трофею, кто там выжил, кто погиб из его подданных — знать было не обязательно. Наполеон был гений, попущение Божие, а победители его были унылые служаки. Хотя, чем меньше военного искусства ведомо было моему отцу — тем больше на его стороне было удачи. Того самого попустительства, высшей воли. Дано Наполеону встряхнуть Европу, дано моему отцу стряхнуть его с Европы. Даже если за отца воевал батюшка мороз — тем меньшая удача Наполеона. Ничего почти не заслужив, он был обласкан фортуной — все поняли, что только это и может что-то значить. Сорокаградусные морозы улыбнулись своей ослепительной сверкающей улыбкой моему отцу.

Зло более громко, славно, поклоняемо. Благодетель человечества заслуживает иронии, величественного в его фигуре мало. Я, дочь фельдмаршала, принца, в центре Европы, посланница императора-победителя, некрасивая, как может позволить себе быть некрасивой светская женщина, с мощным певческим голосом в стране бельканто, с прелестными, оригинальными молоденькими дочерьми — я никого не удивила здесь. Флоренция полна туристов, американцы и англичане путешествуют по Средиземноморью, вздрагивая от предвкушения осмотра следов наполеоновских походов, вступлений его на ту или иную землю — захватчиком. И никого не интересую я.

Никакие юные корнеты не посмотрят на меня с трепетом, когда мы приедем в Петербург, когда я вернусь в страну, которой моя семья так ярко послужила. Будут видеть только меня с моими скромными — и каждый будет стараться их и высмеять, в этом будет доблесть — достоинствами, корсиканскому чудовищу будут приносить бескровные жертвы сердца до скончания веков.

На мою руку не нашлось искателей из молодых полководцев, не нашлось и на внучек Кутузова. В Европе не нашлось романтика, который захотел бы в фамильный замок повесить портрет батюшки, почтеннейшего покойного mon père — победителя Наполеона Бонапарта.

Я не сдавалась. Я подписывалась — подписывала к моей новой негромкой фамилии «Хитрово» — урожд. княжна Кутузова-Смоленская. Я родилась не у князя — у генерала Голенищева-Кутузова. Когда кому-то дают княжеский титул — понятно, это не за выслугу лет, это — когда были какие-то проведенные бои, которые кроили политические карты, когда двигали войска, как игрушечных солдатиков, как Наполеон двигал армии и народы.

Когда меняют имя: кто-то кому-то, трепещущему, ждущему, меняет. Пушкин изменил свое имя сам. Был Александр Сергеев сын Пушкина, стал — словом «Пушкин». А уж когда засмеются, если кто перепутает его имя-отчество, или какого Александра Константиновича Александром Сергеевичем, оговорившись, назовут, там и довольная шутка: «А в Александры Сергеевичи вы меня за что произвели?» — это уж пустяки. И все с любовью, без насмешки. Признаться в любви к Наполеону — тут ирония. Отец служил под Наполеоном, я — под Пушкиным.

Мою любовь к Пушкину острословы называли «языческой». Я сама бы назвала ее так, без кавычек и насмешек. За мной никто не хотел того признавать, но я была уже отмечена судьбой, давшей мне мое рождение. Буонапарте можно было называть антихристом, это было в моде, и экзальтированность такого патриотизма была вполне в рамках хорошего тона. Сокрушителя же антихриста уважать, уж тем более поклоняться — это считалось провинциальным, невежественным, смешным. Я должна была гордиться лишь тем, что я дочка фельдмаршала. Это — много. Дочь Кутузова — здесь кичиться нечем.

**КАВАЛЕРГАРДЫ:** Пушкин окончил единственное в России учебное заведение, где были запрещены телесные наказания. Он не пережил никогда этого момента, когда совершенно чужой человек быстро, неожиданно, не вступая с тобой в предварительные отношения, вдруг сближается с тобой неслыханно близко. До этого чужих, чужие тела и чужие личности, ты воспринимал только слухом, зрением, обонянием — ты мог закрыть глаза или уши, заткнуть нос, начать думать о чем-то другом, даже выполнять их приказания — но всем существом пребывать там, где хотелось тебе, ты весь и весь твой мир оставались нетронутыми.

Порка имеет интенсивность строго размеренную. Она не убивает тебя, но она захватывает все твоё существо. Поруций имеет полную, неконтролируемую тобой власть, и власть безусловную. Каждый взмах его руки электрическим ударом, до кончиков ногтей, входит в тебя, и боль эта гораздо, гораздо реальнее любых других раздражителей. Ты можешь полюбить то, что своим видом еще недавно внушало отвращение, ты

можешь сохранить свои вкусы, ты можешь с грустью констатировать притупление восторгов по поводу услаждающих взгляд или слух явлений — удар всегда будет ярким, как в первый раз. И порка будет касаться только вас двоих, в порке — только вы двое. Ты и дядька. Или сменяющий его дядька. Или ты — и поставленные в круг мальчики, наблюдающие за поркой — для назидания. Ужасающиеся, со страхом или наслаждением представляющие себя на твоём месте, сменяющие потом тебя — и на тебя потом будут смотреть с нежностью, с завистью, полностью признающие твоё превосходство, ты становишься чем-то особым, отдельным, наполненным чем-то тайным и ставшим явным только тебе — как жених.

И конечно, всякий, кого публично пороли, никогда не захочет, чтобы в важные, единственные, яркие моменты его жизни присутствовали женщины. При чём тут женщины? Разве они были ТОГДА? Разве знали они, как важно не закричать, молчать, разве кто-то бы захотел, чтобы после того, как всё было кончено, к нему явилась бы с утешением вся укрытая юбками, волосами, шальями какая-то дама, разве для неё предназначалось его мужество? И если ты всё-таки будешь плакать — что за цена в её расплывшихся утешениях, как сравнить это с тем, когда молча, и без касания, и без мягкого слова — подойдёт товарищ, просто приблизится?

Этого лишил Пушкина государь Александр. Мы слышали, что потом, при императоре Николае, телесные наказания все же разрешили в лицее — со странной формулировкой: «в мере отеческой опеки». Государь император имеет хорошее воображение, он знает, что домашняя, отеческая порка — это совсем другое дело, там по углам плачут сестры, там наготове стоит нянюшка, там матушка разбавляет своим соучастием каждый взмах розги, она никак не хочет видеть в тебе человека, и тем более мужчину, она смазывает все

значение этой процедуры, она превращается в какую-то рутинную, пошлую, гигиеническую и дисциплинарную процедуру. Это — не часть твоей жизни, не приготовление ко взрослому миру, не участие уже твое в нем — пассивное, страдательное, но реальное, с твоей кровью и твоими проглоченными слезами.

Из отеческих домов не часто приходят наши друзья. Закрытые заведения — вот где расставляется истинная иерархия, пестуется наблюдательность, умение увидеть ту специфическую особенность, какая есть в каждом мужчине — женщины простодушно, им кажется — цинично, на самом деле — плоско и глупо говорят: «Все мужчины одинаковы», вот где рождается способность к любви. Для нас все мужчины разные. Мы, воспитанники закрытых заведений, не видим друг в друге безликую массу женихов, различающихся только социальными характеристиками, мы друг для друга — разные. Как отдельные миры. Мы и сейчас живем так в полку, нет разницы, что некоторые женаты, некоторые проводят жизнь в волокитстве за женщинами, это ведь не важно, они не перестают быть мужчинами.

Можно один день провести, наблюдая и влюбляясь в одного, потом этот мир может погибнуть — в глазах другого, это ведь все равно, останется ли он в списках, другой день взойдет новая звезда.

Мы очень чтим уложение общества. Мы очень внимательны к тектоническим подвижкам в нем, мы чувствительнее кошек, слышащих подземные точки за тысячи километров. Вершина нашей пирамиды — царь, мы слепо подчинены ему, мы мечтаем только о нем. Но и дядька Никита имеет власть от царя и директора пороть меня, князя. Я никогда не перестану видеть в нем мужчину.

Приходит Пушкин зачем-то смешать все в этом мире, устроенном не им, желающий заставить нас подчиняться чему-то условному, нереальному, не тем

живым, чувственным и единственно реальным отношениям между людьми, а — стихам. Мимолетным чувствам и восторгам, не признанным никем.

МАСКА: Сам был мелкий и крепкий, жилистый жилами не длинными, надорванными, выносливыми до последнего, не хваткими, а ловкими, годными для гимнастик. Из таких бывают хорошие танцоры, считающие танцевание самым мужественным занятием, убеждающие в этом и женщин. Такие, чем выше поднимаются, тем восторженнее обожаются. Девицы и жены про реальных мужчин, про реальные достоинства забывают, все влюбляются в танцора.

МАСКА: Дантеса приняли в гвардию, перепрыгнув через две ступеньки, гвардия роптала. Почему б Пушкину не дать чина какого-нибудь повыше, зачем экономить на жалованьях, называть камер-юнкером? Юнкер — это ведь и есть юнкер. Почти юнга, не в тридцать же три года, да еще по тем временам! Не так уж юны душой поэты, Пушкин был и формально придворным историографом, вот-вот бы на какой-то чин дотянул, а камерные эти левреточные должности все-таки не для поседевшего мужа такой рослой жены. Как ни считай, что все это рассказы, демократическое мифотворение — что царь как-то уж особенно притеснял Пушкина, но все-таки у него были возможности двинуть Пушкина по другому пути, ему-то уж щелкать его по носу было слишком легко, хотя вроде бы и не за что. Однако ж не удержался, вот уж действительно, как офицеришка.

МАСКА: Пушкин ходил в женихах девять месяцев, почти два года до свадьбы — отвергнутым искателем. Такой роли не завидовал и простенький юноша, вознамерившийся жениться, невест все-таки было

больше, красота их была в большой цене в глазах их маменек, жениться хотели на других достоинствах.

МАСКА: Пушкин был отправлен на борьбу с саранчой. Что ж делать было, когда нашествие антихриста уж было остановлено, изгнан он был на далекие острова? Разве Пушкин искал применения зоркому и приметливому государственному взгляду, расторопным приемам, дальновидности и расчету? Вот бы знатный сановник, хоть министр хоть кто пропал!.. Не рановато ль начал чужие звезды на себя вешать, а саранчу бить — даже посмеяться не захотел?

МАСКА: Покой и воля. На просторе, в свободном мире, в открытом. Потому так ужасны закрытые общества — пионерские лагеря, интернаты, тюрьмы, цивилизации ацтеков или советский строй. Есть те, кому там хорошо, — тем, кто пришел в большой мир, чтобы править своими маленькими мирками. Им хорошо. Неплохо и тем, кто не ропщет на судьбу — куда занесло. Туда занесло, там и будем потихонечку дни свои благоустраивать. Гибнут восставшие, несущие свои законы, но более широкие душой — все чувствуют, что они не хотят царить, они хотят встать НАД ними. Завоевать корону — и пренебречь. Получить ее только для игры, не положить за нее жизнь, не жить ею. Этого не простит никто.

Закрытое из закрытых — светская элита. Спокойны те, кто не знает иной участи.

Кто приемлет свое положение и рад мелким достижениям одного дня.

Горе тем, кто хочет поцарствовать там — чтобы попать затем это звание ради свободы. Провести никого не удалось никому. Маленький еврейский мальчик Марсель хочет для себя несбыточного — чтобы поклонились ему принцы, герцоги и монархи — а он

закроется от них в пробковой комнате и напишет свой труд. Кто его пустит в этот круг? Ему даже не удастся изучить весь этот мир. Но он отбудет весь срок от звонка до звонка — и опишет все тяготы. Унижения и сверхчеловеческие усилия во всех мельчайших подробностях. Самому не пожить свободно, на воле, ни одной минуты.

**МАСКА:** Зачем хотел он светской славы?

Лев Толстой хотел быть аристократом и писателем. Но быть аристократом на той ступени, на которую был поставлен в колыбели, не искать, с аристократическим спокойствием принять свое положение. При всей страстности его натуры это удалось, никто не может над ним посмеяться. Потанцевал в молодости на балах, поменял перчатки, а там и за соху: раз захотел властвовать над миром — вышел в это поле.

**КАВАЛЕРГАРДЫ:** Какую гордость испытывает мужчина, впервые осознав ЭТО о себе — попав в такую ситуацию, издалека подозревая и наконец убедившись, что это именно так, как он смутно, страшно, неотступно подозревал, — и получивший поддержку, и узнав, что он не один, что он никогда в жизни уже не будет один. Что он всегда будет знать, как себя назвать, и как искать своих, и что они всегда найдутся. И что все это — нечто неповсеместное, не площадное, не принятое всеми и каждым без чувств, без выбора, без муки и решения. Что он — выделился, что он — не как все, не как толпа — и звание это получил не из суетного желания стать оригинальнее всех, а это врожденно ему, впрыснуто ему в кровь, как талант.

То, что их много, дает ему чувство собора, неотщепенства, команды. Они — не секта.

МАСКА: Девочки играют в принцесс, они готовятся стать принцессами. Мальчики играют в солдат, и никто из них не мечтает стать принцем. Девочки читают светскую хронику и изучают родственные связи и наследования титулов. Для чего Марсель Пруст выписывал титулы, и любовался ими, и ревниво отгонял от самых ярких других, не таких значительных, не таких важных, не таких сладких? Девочка может стать принцессой, любая старая или молодая девочка. У мальчиков нет шансов. Любовника может усыновить титулованный любовник. Марсель мог писать о герцогах столько, на сколько хватало его лет и его сил, он тоже мог стать герцогом. Ему стать герцогом было еще труднее, чем бедной американской девочке, незаконнорожденной, стать герцогиней Виндзорской. Стал бароном Жорж Дантес.

МАСКА: Пушкин не успел обрасти воспоминаниями. Трагическими воспоминаниями — дальними. Все, что вспоминалось ему, — было еще близко, было оживимо. Протяни руку — и кукла снова начинала танцевать под бездушную, саднящую мелодию шарманки. Старая, развратная Аннет Керн могла еще припудриться и снова въяви стать любимой, даже любимой безнадежно. Он мог думать о ней так, а мог и этак — и она всему могла соответствовать. Ничто еще не было потеряно. По-настоящему былыми были детство и ранняя юность — но кто о них жалеет, пока не стар! Этого дождешься только в старости и унылыми, неинтересными видятся всем вздохи и едкие, яркие, назойливые воспоминания стариков. Смакования ими никому не интересны подробностей, а тем паче — их детского, личного трепета от начала жизни.

В его последние 37 лет любое прошлое — прошлое любого, любой — было и его, ни на чью юность он еще

не мог смотреть с отчаяньем, что это не идет рядом с ним.

НИКОЛАЙ I: Я — царь, император, сын задушенного отца, брат отказавшегося от царства брата, казнитель своих дворян, всегда виноватый муж, лишенный за это теплого очага, воспитатель тупоумного сына и всяческий Палкин. А тут еще Пушкин. Еще бабушка Екатерина говорила, что на великих — му-ужей — надо оглядываться и признавать за ними то, на что они, по их расчетам, могут претендовать. Я — человек долга, я не умничаю, я готов — но министр мне должен доложить, что верительные грамоты ЭТОГО будут приняты. Про ЭТОГО мне сказали, что он равнородным признан не будет — ну и остается в моем внутреннем ведомстве. Здесь я его уважу, он честный человек, он знает свое место и радеет, бьется за него. Это — по-государственному, в этом я буду помогать. Буду улаживать его и денежные дела, и репутации его семейных, и иностранцам поставлю на вид, все как это ясно видится мне справедливым.

Интересно только, за что мне — вот быть таким педантом, а Пушкину — резвись, обмусоливай каждую свою страстишку, записывай ее хоть так, хоть эдак, сценарий жизни своей как хочешь пиши, какие хочешь роли раздавай — мне, например — господствуй, в общем, владычествуй. А мне — вытягивай фронт.

Цари, цари — уж нам никто не завидует. Поближе только тянутся, чтобы грело. В царевом круге родиться — этого бы и довольно. Эта доля завидна бесспорно.

Так что ж — и тут Пушкин семя свое к нам продвинет, тоже дочка его будет по своим арапским — вот извинение нашли — страстям жить в свое удовольствие, а нам ее в книгах считай. Хоть и вычеркивай, да занимает место, тут уж ничего не

поделаешь. Водились Пушкины с царями. Теперь цари с Пушкиными водятся.

Пушкин получает все.

Ну ладно, что он мне, мне — мое, царское. Тяжкое.

Девки хотят царицами быть, мужчины — все лишь министрами.

Когда царь пулю в затылок получит, или, избави Бог — в лоб, по пуле и детям — великие князья будут в Ницце. Хорошо, что мы про это не знаем.

Кто в цари метит — пожалуйте. Собственно, многим и удается. На моей памяти захудалый корсиканский СИНЬОРЕ пробился куда хотел.

Разве что покоролевствовать иной раз для забавы, ну раз уж имею я это, хоть поиграться, не все ж работу работать — так это и любой директор гимназии в праздник не подступись каким императором выступает. Разницу нам не засчитают. Мне еще тоньше велят играть — подданным-то тоже лучи поярче да пожарче надобны...

Страдания Пушкина, что толпа, мол, чернь его разглядывает, да разбирает, да судит, засчитываются каждое по отдельной строчке в мартирологе, мои — тщеславный тупица все загубил.

НИКОЛАЙ I: Что на жену его не так смотрел. Мне на погляд не только жен, — дочек, невест ведут хоровами. Я взгляд должен в сало макать, лишь бы сухо не царапнуть. Как я еще отличить жену могу, мужа потешить? Да я и не имел для нее ничего — вялые, под холодность, названные красавицы — увольте. Хватает и природных, не налакированных, не отраженных от зеркала — смотрят-смотрятся и на лицо накладывают, что увидели, что намечтали, ходят потом такими перед людьми, с себя, как чулок, дома эти личины-личинки снимают. Ох. Мне по службе этикет да протокол, хоть на красавиц могу своим взглядом посмотреть.

Потом, после Пушкина — другое дело. Она такая растерянная, такая всеми забытая, но от всех требования обязанная принимать, хоть бы кто помог, так все с претензиями — пока Россия будет, все будут нос воротить: не соответствовала. И на меня смотреть: что сделал, чем помог. Всем помог. И саму жалко. Она бедная, за всех цепляется, кто старой жизнью живет, кому Пушкин действительно что-то значил — таких мало, какие-то читатели, они все о читателях, они ей никогда не были нужны, ему — нужны, они его массой своей поднимали, как море корабль: по отдельности — ничто, капля, а вместе — несли его. Она-то — в капитанской каюте сидела, ей все равно.

Как вернулась после его смерти, через семь лет, — рада была, когда суда и суденышки, все эти литераторы да редкие не забывшие знакомцы ей честь отдают, да я — флагманский корабль. Разве не утешил? Как не утешить, вдовицу-то!!!

Виноват?

Все виноват.

ИННА И РОМАН. Листают каталог чешских замков:

— Помнишь, как мы бросили в багажник несколько плит?

— Ничего себе бросили, я их еле дотащил, это же не керамика, не искусственный, это был настоящий мрамор. Мрамор очень непрочный, это для итальянских забав, у нас даже скульптуры укрывают, хотя по ним никто не ходит и полозьями не скребет. Да, плиты были потрепанными. Но это были те самые, настоящие плиты, по которым ступала нога Пушкина и Вяземского. Бориса Годунова... И это были те самые плиты, в предыдущие семьдесят лет их некому было менять, да почти и некому было топтать, вот их выбили, свалили в кучу у крыльца — ступени, остатки дорожек, какие-то наличники, все мраморное... Когда мы приехали через

несколько лет — музей — филиал московского, мэрского подчинения, — мраморов тех давно уж не бывало, крыльца выровнены под уровень, облицованы плиткой, работа не халтурная, отскочат не скоро — да и туристы в мягких сапожках, уже приближаясь, на цыпочках идут. Что им покажут?

МАСКА: «Моцарта и Сальери» хотел назвать «Зависть». Чем выше ревность зависти? В ревности претендуешь на того, кому готов отдаться сам всецело, только соперник мешает, а в зависти — не отдаешь никому и ненужного. Завидуешь славе, любви других: тебе-то для чего другие? Чтобы не досталось. Хочешь не дать, а отнять. Ревнивец — строитель, хотящий строить, завистник — разрушитель. Ревнивец может показать свое страдающее лицо, завистник — только скрыть. Любовь, вызывающая ревность и вызывающая зависть. Где Пушкин видел зависть и что в себе он хотел сравнить с тем, за что звал жалеть Сальери?

РАЕВСКИЙ: Легче Пушкина быть нельзя — однако ж и он имел человека, которому тяжело смотрел вслед, — меня, Раевского. А впрочем, что это я — не тяжело смотрел — испуганно. Ребенок. Ему было двадцать лет, я его не жалел, я сам полками командовал в шестнадцать, а ему только и довелось, что костюм надеть, приодеться и манеры взрослые завести, а так — искал, у кого учиться, кого послушать. Я, Раевский, был таков, что производил впечатление на Пушкина. Он уже предчувствовал, знал, наверное, что жизнь его будет не такая, как у всех, что поприще особенное, что имя — прославленное, не знал только, как и каким образом это случится. Из всего, что видел, — я ему показался самым необыкновенным, годным на высокое поприще, на славу, учился славе у меня. Я был скептик и циник, он пытался переделать под такого и себя, не получалось,

он боялся — потому как не хватало талантов, ловил каждый мой поворот языка и мысли, копировал, как каждый копировальщик, — ревновал к недостижимости, страдал от едкого унижения собственной вторичностью... Он даже не понял, когда освободился от моих чар, он меня вывел своим главным героем, лучше меня никого не искал — потом перешагнул, пошел куда-то дальше. Что ему было до меня? Мне посвятил и «Ангела», и «Демона», и знал, что Воронцову я любил больше, чем он, — дольше, чаще, я ее прилюдно позорил, а он писал «Священный сладостный обман, души волшебное светило» и не имел права защитить, я его изгнал из Одессы — нанес рану в дружеское чувство, — они там, из закрытых пансионатов, чрезвычайно к этим дружеским обязательствам чутки, измена в дружбе им еще горше любовной, для женщин они загодя запасаются броней отговорок о женском коварстве.

МАСКА: Пышное имя — Александр. Имперское, императорское. Недавно вошло в русскую моду, где весь предыдущий век медведями ворочались Митрофаны, Федоры да Антипы, — и вот уже в империи у моря идут два Александра, двадцати пяти и двадцати лет, один — полковник, победитель Наполеона, другой тоже служит, — разговаривают о высоком, они влюблены в даму.

МАСКА: Если б Пушкин провел молодость в столицах, может, получил бы прививку от той болезни, которая свела его в могилу, узнал бы, что в свете никто и ничего ему не уступит. Разве что повздыхал бы иногда: вот мой бы дар да мою славу, с ними бы — да в провинцию! Там — только преданность и уважение, там — только любовь и священный трепет, разве что самому только пресновато без едкой соли... Получил провинцию

сполна, заброшенный молдавский край, костры в полях и жердяные мазанки. Устройство мира в главном его принципе Господь воплотил в каждой капле в океане — везде найдешь все. И в самой глухой провинции встал над Пушкиным невеликий человек — и знал потом, что — пусть даже один-единственный день в своей жизни — Пушкин провел, следя за ним, восхищаясь, ревнуя. Вся полнота мира открылась перед ним.

**МАСКА:** Ни о каком демоне не напишут стихотворения «Демон», напишут о демоническом. Каким мне оставалось быть, когда на пути моей юности мне встретился Пушкин? Ума, моего, уж точно было у меня довольно, чтоб разглядеть, что пушкинский — особый, прозрачный, любое явление, любого человека помещающий на чистейшую воду, как в яснейшее стекло, заливающий ярчайшим и необманным светом. Видящий то, что не увидать никому. И так же все это называющий — так, что собеседнику приходится сначала мысль его услышать, воспринять, поразиться, какой новый порядок это в его собственной голове производит, а потом думать, как в Евангелии: кто это такой, что позволяет себе говорить так? Каждому же было понятно, Кто перед ним. Я могу называть Его Кем-то с большой буквы — надо мной и моим запоздалым восторгом подсмеяться некому. Все, кого я научил насмешничать и ниспровергать, давно не интересуются ничем, кроме кашля, подагры и теплоты поданного чая. Я остался наедине с прожитой жизнью.

**ВЯЗЕМСКИЙ:** В моей жизни случилось это несчастье: я умираю, зная, что был я и был Пушкин. Вот и размышляй после этого о бессмертии, о создании по образу и подобию, когда перед тобой поставили такую пошлую, вульгарную картинку: есть люди-человеки и есть бессмертные гении. Как я мог бы вырваться,

заставить себя помнить вечно и прочее — родившись, и сразу за рождением, за осознанием себя рожденным, узнать, что во мне какого-то огромного, чрезмерного, лишаящего сомнений таланта — нету. Пока не было гения, можно было мечтать о чем угодно, ласково покачивать головою, созерцая то, что удалось родить самому.

БАРАТЫНСКИЙ: Я очень, очень талантлив, мои стихи вневременны и очень глубоки, люди после меня будут поражаться: уже ли в те времена такое и так можно было написать? Так подумать, так увидеть, так сложить слова, быть таким визионером, таким провидцем — провидцем не в будущее, а в глубину, в суть вещей, будто все сущее пустило меня внутрь себя, раскрыло все тайны — не как туристу, не как искателю — те-то восторгаются самим открытием, его фактом, — а я живу и все знаю как абориген, для меня ни в чем в этом мире нет экзотики, мне все привычно, весь мир — мой дом, мне не было бы равных, я ни на кого не равнялся, ни на кого не смотрел, мне не нужны были признания и подтверждения. Кто и что мог бы мне сказать в похвалу, если б я сам не сказал уже о себе:

Мир я вижу как во мгле;  
Арф небесных отголосок  
Слабо слышу... на земле  
Оживил я недоносок.  
Отбыл он без бытия:  
Роковая скоротечность!  
В тягость роскошь мне твоя,  
О бессмысленная вечность!

...С них довольно, что я с ними поделился своими открытиями.

РОМАН И АННА: Помнишь, мы, когда приезжали в Прагу первый раз, ходили на экскурсию и гид рассказывал, что Кафка не собирался публиковать свои произведения. Еще бы, он же был страховым агентом, или брокером — ну вот кто у нас из банка, в должности, при папе, который продвинет у себя или еще где, пойдет писать книжки? Славы никакой, деньги — я вас умоляю, — и сам видит, что это не мейнстрим, так никто не пишет, к профессиональным литераторам, которые готовы допустить, что это — законное новаторство, — тоже нет никакого интереса приставать, уж писал как писалось. Для себя... Нашли вот рукописи... А сколько не нашли, сколькими печки наистопили по миру.

— Ты писал когда-нибудь, в юности?

— Нет, не писал. Хотя всегда думал, что это очень просто и стоит сесть — сразу напишешь что-то не хуже других.

— А мне кажется, что Кафка писал хуже многих, хуже этих других, и комплексовал и уж точно не лез печататься. Правильно делал, его б и не стали печатать, разве только как Пруста, за свои деньги... да это как-то не нужно. Что тебе другие и их признание? Жить-то — здесь и сейчас, а посмертная слава — она никуда не уйдет. Ее Кафка себе за свои труды не ждал, велел все сжечь. Представляешь, после скольких — сожгли?

То ли сожгли, то ли нет, что тут придумывать, когда и несожженного — не перечитать...

БАРАТЫНСКИЙ: А кончится все тем, что с умным видом будут писать — критики случайные, досужие, — что, мол, «Моцарт и Сальери» — это Пушкин и Баратынский. Ух ты, какая радость обывателю! И школьнику учить веселее. Можно даже проявить пытливость и прилежание, повыискивать по строчкам:

вот здесь так Баратынский жаловался, а вот здесь вот так намекал, не повезло парню...

Поэзия — такая штука — или не надо ее давать изучать, оставить только тем, кто страстью и интуицией сам до нее доберется и сам только то, что самому нужно, будет потреблять, или вот препарировать под самыми идиотскими срезами: был ли Баратынский Сальери Моцарту? Воровал ли Пушкин идеи и образы у Андрея Шенье, хорошо ли прятал концы в воду? Считать размеры, кольцевать рифмы... А я вот спросил: «Что называешь ты родительным падежом?» — говорят же об этом! — да и хватит с меня.

РАЕВСКИЙ: Я, Раевский, задал русским тон — я уехал в Ниццу, оставшись без жены. Ниццу надобно считать русской дальней провинцией, мы там стоим флотом, там наши церкви, наш порт, мы говорим на их языке и отдаем им свои деньги. Франция нам любезна, привлекательна, мы в ней принимаем все, гордимся возможностью рассмотреть и охаять, ничего не придумаем взамен, случится ей надерзнуть, провиниться — мы все простим, мы даже побоимся переусердствовать с благородством великодушного прощения, чтоб не унижить тем горше, мы очень ужмемся, но не переведем любви в расчеты, я не потерял родных, но видел смерти русских в наполеоновских театрах — боевых действий, спектаклях славы, — и мне было не до горестей стоптанных и сожженных деревянных домов по тощим русским деревням — мне уж недосуг было огорчаться. Я был страшно молод, я встретил Пушкина в Кишиневе и вместе с ним уехал в Одессу. Графиня Елизавета Ксаверьевна раскрыла нам свои объятия. Мы говорили с ней по-французски и гуляли с Пушкиным вдоль моря.

Главный урок, который я преподнес Пушкину, — он ни в чем не нуждался и всему научился раньше, и потом

сам — не быть сентиментальным и восторженным. Вот мой прекрасный живописный портрет предо мною — таких иронических глаз нет ни на одной табакерке, ни в одной рамке по всей России в те времена. Конечно, художник — не Пушкин, его-то трепет был поистине священным. Живопись неплоха. Ниццу я выбрал, уж конечно не кольцуя черным романтическим перстнем своей судьбы.

Франция — наша провинция. Я одессит и москвич, я так чувствую. У Пушкина были города — девичьи и кабинеты. Чем не гостиная нашей квартиры Париж? Халат с колпаком я, разумеется, сниму, но с чего мне робеть, видя противные и говорливые лица на своем суаре, отчего пренебречь компетентным или намеренно вводящим в заблуждение разговором, отчего не возблагодарить отчужденность и искреннюю холодность почтивших меня гостей? При иной судьбе большего от представителей рода людского и не затребуешь.

Я гнал Наполеона, я поучал Пушкина, я населял своими детьми воронцовский дворец, я смело говорил царю-палачу: «Честь выше присяги, сир!» — таковые слова напишут в книгах: ах, что был за герой! — так я и на самом деле не предал шурьев и кузенов, я сестер во глубину сибирских руд самыми знаменитыми декабристками отправлял — что мне делать, сраженному самым злым несчастьем — быть вдовцом и дочь родную хоронить?

РАЕВСКИЙ: Все страны имеют моря. Россия стоит в суши, в сухости, в шершавой заскорузлости тонких вен рек и речушек, имеет вымораживающие зимы — кто не знает, как сухо, безжизненно на морозе — и сушащие жаркие ветра каждое лето? Льет дождями по осени — готовится к бесплодию бесконечных зимних и якобы незимних месяцев — ну, будто бы живительной влагой

промывает по весне, распускаются листики-цветочки, травка там, журчат ручейки... океанские волны поднимаются над берегами Нормандии, Бретани, бьются о скалы на равных... каждый крестьянин может их видеть. Проезжать на своей телеге с поля, сидя на трясущемся сиденье повозки подле жены. Жена одета в барское платье — с рукавами, с белым выставленным бельем, с широкой юбкой, приподнятой над щиколотками — крестьянка имеет право иметь эти щиколотки худыми, суховатыми — и уезжать с ними в Париж выступать в театре. Жена имеет на голове бретонский колпак — если мы в Бретани, у пролива, у теплой воды с неукротимыми волнами... Для чего им этот колпак, странный белый кукиш на темени, гордо подвязанный под подбородком? Они метят этим колпаком своих жен. Жены гордятся, что они — из этих краев, что они отпугнут инородца своим единорожьем. Знак цивилизации, кружева, крепкие завязки, строгий костюм... Едучи к соседу осенними сумерками — ты едешь по берегу океана, тебя не отправили к нему в ссылку, океан — твой дом, ты не обязан о нем мечтать, он тебе принадлежит с батюшкиным именем. Твоя столица — Париж, там твой король или твой император — которого мы разгромили. Изгнали, разбили, сослали под стражу, под оперетточные пальмы, под надзор невысоких чинов. Но ты — мелкопоместный дворянин, в Париже, на худой конец, твои министры. Ты говоришь по-французски, у тебя в доме много книг, книги эти французские, и ты их читаешь, и праправнучка твоя будет учиться в университете в Париже и будет очень много читать. Она будет еженедельно покупать несколько толстых книг на плохой бумаге и в бумажных переплетах, это будет принято, и она будет носить узкие черные юбки до колена, черные ботинки без каблуков и черные, глухо застегнутые пальто — и ты будешь ее прапрадедом. Все это в стране, которая с

трех сторон омывается Мировым океаном, плавает в нем, ласкается им, гордо возвышается над ним.

До российских морей не доскачешь, никто из ее шестидесяти миллионов моря не видел. О нем не мечтал, моря — не наши. У нас в степях и однообразных мрачных лесах — у нас — не дубравы — плоские городки, заселенные народцем, не видевшим моря. На отвоеванные побережья посылают губернаторов — графов и генералов. И ссылают поэтов. Поэта сослать к морю! Вот наказанье! Я жажду томим. Я хочу к морю. Пушкин быстро его забыл — хотел заграниц, деревни, свободная стихия давала слишком много воли — он того моря и не вспоминал, он был классик и хотел рамок. А я был волен желать для себя волю, мне путь был только к морю. Оставшись один, я хотел в него вернуться.

Когда ты обрублен, как сухой ствол, — не любоваться ж тебе пошлыми чередованиями времен года, подбадривая себя тем, что это не ты так провинился и оказался наказанным отвратительной всем старостью, а вел себя совершенно прилично, как принято в обществе, не посмел не состариться, не стал вести себя экстравагантно. К чему такой моветон? Мы потешим внуков, а в отсутствии их сбежим к хладной мощной стихии. Море бесплодно. Оно дало всему жизнь, но это так отдалено, что легче уж философствовать на тему, что наши белковые молекулы тоже не исчезнут бесследно, а растворятся в бесконечных пищевых цепочках и заблестят гемоглобиновыми шариками в нежном румянце красавицы две тысячи девятого года. Море страшно и пустынно. В нем никто не видит ничего до самого горизонта, его боится всякий. Оно живет — так явно и так не похоже на житие чего бы то ни было другого на этой планете, оно так независимо, так не нуждается ни в чем — в чем нужда морю? — так не приемлет мольбы — а заодно ее и не вымогает, — оно не оскорбится твоим соседством: не заметит и даст

собою пользоваться. Оставшись один, сам с собой, ты большего и сам не пожелаешь. Пушкин пожелал умереть, я не хочу жить. Пушкин завидовал мне, я завидую Пушкину.

РАЕВСКИЙ: А так — живу. Вы все говорите о Пушкине — что ж, иногда — имею я досуг — вспоминаю и Одессу. Одесса и Ницца — это не два моих города, я на себя этикетки не клею. А сами по себе городки хороши. Который лучше? Одесса красивее, рубили окном в Средиземноморье, палладиевский кнут и новые архитекторы. Мечта зодчего — как помечтать, чтоб доверили нечто большее, чем квартал или площадь с нуля строить? Мираж малороссийской топи, на два этажи пониженный и помпезный объемный туф там, где в столице гранит, — вот и Петербург с теплой сырой малярией вместо сырой промозглой чахотки. Мне милее — сады, спелые ягоды и умягчающая взгляд общая сытость, купания опять же, гимнастики... О Петербурге нечего говорить — вреден север и для меня, уж я-то себя хозяин.

А уж Ниццу с Одессой сравнивать — это так, к слову пришлось... Одесса потухла для меня, как лампа. Пусть себе стоит на полке у антиквара, будь хоть какой бронзы и позолоты, хоть какого мастера — светили в ней люди, что бы для меня ни значившие... пытка человеку провезти его в пролетке по пустынным, пустынным — безлюдным — без ТЕХ людей улицам жившего вместе с тобой когда-то города... Не того статуса наша семья, чтоб по губернским городам разбредаться...

Да и Франция — провинция, как из российских служилых столичных кругов поглядеть, а как из всего мира — а мне надо из замучившей меня России выбираться, — так и очень себе центр земли...

Так говорите, что ж Ницца? Ницца поплоче и Одессы была бы — старая средиземноморская рыбацкая деревня, строившаяся, как ласточкино гнездо, кто что слепит, лестницу Потемкинскую никуда не всунешь. Однако ж разрослась — с тем вкусом, с неэкономией — с выше поднятой планкой для разрешения хоть что-то всем на обозрение конструировать, неплохой безликий эклектичный городок — со всеми удобствами для не хотящего ни на чем спотыкаться господина, здоровым климатом, полный солнца, бодрящих ветров в сезон. Оглядитесь-ка, что за виды, что за Боронские горы, мысы, острова в дымке, доносящийся по взгорьям запах Прованса: забитый для незнаек кухонным масляным словом запах лаванды и сосен — такой будет запахом жизни и бессмертия, щекочущей ноздри молодости и бальзама, спорта, элегантности, сложно сконструированной женственности и просто растущих на суши и солнце растениях. Неровная линия берега с рваными скалистыми выступами, прихотливо и тоненько подбитая кокетливой опушкой пиний, — ну, все красота... А тут Одесса — со стыдобными оползнями в море глиняных берегов. Просто земля падает в море — в таком случае уже не в море — в водоем, свободная та стихия только эхо морей и океанов, и глина падает в нее жирно, как мясная накипь в сковородку... Я поехал в Ниццу — жить, прогуливаться, выслушивать возбужденные от ожидания ниццевских приключений рассказы о далекой родине все новых и новых приезжих, не упускать того, что на роду мне написано — расходования на себя прелестей приморского климата. С чего было отказываться от такого?

**МАСКА ПУШКИНА:** Пушкин ли я? У меня Моцарт говорил по-русски, словами гений изливал — не насвистеть ли и мне свою арию?

МАСКА: Разве зимующий первую зиму щенок не констатирует с грустью, что жизнь не так весела, зелена и во всех мелких горестях легко терпима, как совсем недавно прошедшие денечки, — и вот оно что, оказывается, надвигается, надвинулась и конца, совершенно очевидно, иметь не будет. Даже и вслед пришедшие новым летом представления о жизни его будут превратны: он посмеется над своим пессимизмом, уступчивым пред неприятной эпизодой. Цикличность и сменяемость откроется ему сезона через два — по такой пропорции и человеческий век надо считать: младенчество, горькое ученичество, новые надежды самостоятельной юности, опыты поживших... Кто объяснит Пушкину, что эта глыба скепсиса и цинизма — я — не все, что есть в этом мире? Я-то, оглядевшись, это знал. Но кто, если его поощряет юный, с восторгом внимающий Пушкин, рискнет переменить свои взгляды и ринуться в поиски с ним вместе — в поиски, где он прежде всего потеряет гигантскими шагами шагающего смело Пушкина, а заодно и свой уже насиженный, не всегда правильно — уж знамо, — устроенный мирок.

Пушкин не видел синя моря, полуденной волны. Горизонты Петербурга, стремящиеся к линии, — нарисованный город на плоскость бумажного листа и собирался лечь — сравните с громоздко, фантастически — фантазия каждого синьора, владельца, не архитектора! — нагроможденными башнями Флоренции. Всего через пару веков города будут нивелироваться — во Флоренции башни спилят, в Петербурге понатащат, но город от города отличаться не перестанет, и петербуржец, если захочет город свой нарисовать, потребует лист ватмана широкий, вытянутый, карандаш возьмет в руку поудобнее, не акценты вбрасывать, а мощную, тяжкую подушку основной застройки — шайбу, голландскую забаву вперед всего нарисует. Хватит листа — сведет абрис

окраины на нет, на плоскость строгой балтийской воды. Море то даже не мрачно, так плоско, так мелководно, что белесое небо отражается в нем без мрачных теней, той же блеклой замытостью, выйти-то можно и на его берег, и оно катит свою выцветшую рябь куда-то в дальние страны, в бескрайние океаны, полные кораблей с учеными капитанами. Поработав воображением, можно и эту Маркизову лужу за сине море признать — но это не дар, не подарок. Не подарок и черное Черное море Одессы. Разве пристало морю в глиняных берегах стоять? После дней прекрасных погод, под первым ветерком, не зачерпывающем еще до дна, чуть синеют легкие гребешки, а так — мокрой, в кляр замешенной землей бьется у берега — не различишь. Выйти в то море — на то оно и ЧЕРНОЕ, известных слоев жизни нет под поверхностью, не светится, не играет. Дядька Черномор — не моря родственник — моритель. Пушкину бы Средиземноморье посмотреть, синеву, лазурь, играющие просто так волны.

РАЕВСКИЙ: Я сделал свои предательства дружбы, но жить мне и с этим было неинтересно — что Пушкину служебные неприятности, высылки из отдаленных имперских провинций — я написал ему письмо, не удлинять же сюжет дружбы-вражды. Заверял в теплых чувствах, на голубом глазу взывал к пленительным воспоминаниям, писал о Воронцовой. Называл ее вымышленным именем, пушкинским главным женским — была ли она главной? — разжигал этим и сам себя. Что мне Пушкин? Я был с нею тогда — Пушкин вряд ли это простит, сколько бы времени ни прошло, представляю, как хлестнули его эти тайные слова: «пишу вам по ее поручению», всякие другие пустяки — он не сразу отойдет, читая эти строки, бешенство его ревности мне обещано этой счастливой мыслью. Воронцова была женщиной-женой. Связь с такою,

сколько бы нас ни было, — это маленькие браки, игры в них. Это не Мальвина — ты увидишь ее как жену — ПОСЛЕ или ДО, зная о ней то, что знаешь о жене, — а тут вот господин Пушкин удалился из наших комнат, и я пишу ему о ней.

Я не виноват, что мне не дано было то, что подарено ему. Я не убил его своими кознями и письменными штуками. Я поразвлекался, он шел своей дорогой.

МАСКА: Жизнь — сегодняшней день, миг. Как бы не так! Были дни, когда Пушкин не жил без меня, когда — смотрел любовно, хотел раствориться, я был тем, что тянуло его вверх. Наш век почитали мы бурным, однако ж так мало было новостей, информация — это должна была быть или бумага, или предмет, или человек — просто так узнать ничего нельзя было из воздуха, все должно было явиться на дом и вполне матерьяльно. Дома наполнились новостями. В богатом доме — больше информации, больше новостей, крестьянин жизнь проживал, глядя на бок своей коровы, пасущейся в поле, да себе под ноги — грязь мяса. Матушка годами ходила в одном платье, блузы штопали, даже до стирки дело доходило неспешно. Не красили волос, не перебивали мебель — ну разве что к свадьбе, только-только появлялись газеты.

Да мало ли что появлялось в свете, а до домашнего быта не доходило. Проезжала повозка — можно было потрудиться узнать, кто такие. Послушать музыку — концерты у вокзала и инвалидные оркестры на балах. Много людей, событие. Если сидишь затворником — не знаешь, какое на дворе тысячелетие. Тем значительней человек в этом вакууме.

Жизнь, полная только созерцания и мыслей, — что ему было б не додуматься до чего-то более яркого и стройного, чем мои неоформившиеся мизантропии? Попав на месяц в новое место, ты был обречен иметь

дело с людьми, которые даже из такого стоялого места не двинутся никогда в жизни. Месяц — он был твой, придумывай себе направления. Пушкин предпочел пойти за мной. Как утенок, как щенок — за первым движущимся объектом, меня принял за мамку. Мои представления, мои умозаключения, которые я так легко и безболезненно приобрел, общаясь с сослуживцами, с братьями, с отцом-героем, генералом, с растущими сестрами. Почти не читая — уж поэзию я точно не читал, поэзией нельзя создать своего облика, — он посчитал за готовый образец и с восторгом смотрел на меня: как это я стал таким? Как мальчик — влюбился в девочку за то, что у ней не растут усы. Не пишу стихов и не читаю их — значит, обошел его, значит, нашел другую истину — дальше, выше, истиннее. Мне удалось подержать на привязи привязанности Пушкина, но мне это ничего не дало, и ревность, бывшая самым сильным чувством, еще короче, чем влюбленность в меня, прошла, как жажда путника, когда сел он к накрытому столу, и разве что отходя ко сну, с уважением к своим ощущениям и страхам, но все ж спокойно, с улыбкой, припомнит.

**МАСКИ:** У нас у всех одна особенность, одна мета, одно невезение — мы, как коронованные, как увечные, — не такие, как все люди. Мы знали Пушкина лично. Не так уж приятно провести жизнь неровней. Пусть мы с этим не согласны, жили как хотели, смотрели ему в лицо, как любому простому, — ну так нам за это не дают покоя, за это — упрекают.

**МАСКА:** Зачем Пушкин, гений, всевидец, так сильно жил своим? Что ему было это свое, случайное, когда он мог видеть и понимать весь мир, организованный с далеким умыслом?

У кого еще из великих писателей такая значимая судьба, кто ею так занимался? Какая личная жизнь у Христа?

АЛЕКСАНДРИНА: Срезаю розы и собираю их, ставлю в разные вазы. За розами уход непрерывный, легкий, размеренный, они не выкидывают фокусы, не требуют внезапно чего-то. Растение породистое, с гордостью предъявляющее поколения предков, пускать в сад выскочек могут позволить себе садоводы авантюристические, экстравагантные, положившие досуг на их ассимиляцию. Это — миссионеры, они преобразуют ландшафты, создают моды. Я выхожу в свой сад только затем, чтобы набраться сил — от них, старых сортов роз. Я им ничего не дам, но с благодарностью, не безобразничая, наслажусь каждым лепестком. Весенними работами в розарии я не занимаюсь сама, своими руками, но смотрю очень строго за первым послезимним раскрытием — это самый нервный период, надо высчитывать погоды, температуры, заставлять раскрывать и прикрывать растения по несколько раз на неделе, следовать всем этим ужасным перепадам температур и ветров. Все не так критично, как в России, но у нас здесь, в Словакии, тоже климат континентальный, горы, роза любит все мягкое, сырое, на процеженном солнце. Я не хочу потом летом, в пору цветения, корить себя за леность в присмотре за садовыми работниками. Первая обрезка, подкормка, опрыскивание, прогнозы на ожидаемые болезни и вредителей, обработка почвы — все знают, что это я требую педантично. Потом мои милые розы начинают цвести — самый полный и радостный график в моей жизни, так радостны были только недели моей поздней беременности. Там тоже все было неотвратимо, плодотворно, необременительно, заслуженно.

Срезка на букеты — мое занятие из нелюбимых. С таким же безразличием я могла бы просто покупать эти букеты у цветочницы. Может, выбирала бы заинтересованнее — цвет там, аранжировка, количество — ко всему этому можно было бы отнестись отстраненно, как к обыкновенному элементу декора нашего жилища — нашего бедного жилища, нашего замка. Я не люблю крайностей, ригоризма, оформленных тенденций в хаотичном и полноводном, плотно набитом разными формами жизнеустройстве. Раз есть дом, замок, раз есть в нем проходные комнаты, гостиные, залы, кабинеты, спальни, столовые, раз расставлены в них столы и тумбочки, полки и холодные летом камины — значит, на них надо смиренно выставлять подходящие букеты. Я даже не увлекаюсь — вовсе не розы у меня по комнатам одни. Я чаще всего просто прошу нарезать букетов — и все, я потом выхожу в мой сад уже не хозяйкой — матерью. Мои взрослые цветущие дети вернулись с работы, и я доброй матерью встречаю их — разговорами, уходом, заботой, лечением, приборкой, советами. Розы в саду высажены уж конечно с самым продуманным тщанием. Размер, характер роста, габитус, время цветения, форма цветков и соцветий, цвет и форма листьев, запах, кратность цветений, я постоянно держу это все в голове — растения ведь надо или можно поменять, я впущу новые кусты в сад — как бумажный кораблик ладонью подтолкну. Это — крупные проекты. Каждый же день мой — обход розариев в моем саду. Здесь все живет и все вызвано к жизни мною. Я старая женщина, но я могла бы прожить заново все мои года, пытаюсь осознать эту мысль. Жизнь не была бы мне в тягость, если бы в ней я могла задать себе утром вопрос — ведь тот же самый ответ можно получить от чего угодно, хоть от тусклого луча на стенке каземата. Я — от роз. Каждому свое. Мои розы плодоносят и воспроизводят

жизнь из себя самым божественным — я давно отбросила мысли об обыденном — образом.

Одна, в любом платье, в крепкой обуви, с секатором в руке, с корзинкой. Сначала надо обрезать отцветшие цветки, не поторопиться, дать тому дню постоять в чистой, опрятной грусти увядания — поймать этот момент и дать ему поплыть по их, цветочному, тленному кругу жизни... Опять же я не заигрываю — я не оставляю на кустах совсем засохших цветков, подергивающихся уже прахом высохшей плесени. Я решительно щелкаю секатором, еще решительней убираю обреченные погибнуть бутоны, попавшие под затяжной непроветриваемый дождь, запечатавший их оклизлыми верхними лепестками. Мертворожденные эти цветки также падают в корзину. Этой срезкой мы подбиваем садовые костры, над усадьбой тянет усыпальным тревожащим духом. Мне не пристало ностальгировать, но я б не отказалась, если б все это по ноябрю было запечатано стерильным сухим колпаком промороженного снега. Случается нечасто.

Награда моей заботы — обрезка с декоративными целями и букеты из обрезков. Некоторые веточки высовываются слишком далеко, оставленному развиваться свободно кусту сообщая вид анархии, бунта, самоволия, всегда затапываемого на дорогах истории — хотя б и садового партера. Отрезаешь также и лишние стрелки чайно-гибридных роз, королевской элегантностью повторяющих одна другую на одном и том же стебле, — так не бывает, они все хороши, они все королевские дочери, все принцессы — королевой будет оставлена одна, я обстругиваю мощный полутораметровый ствол, я не готовлю его к торжественному гала-букету в напольную вазу, я этого не люблю всего — я собираю эти жестко свернутые бокалы из отглаженного шелка, свежего атласа, топорщащейся органзы — в миниатюре, в ладони, в

зиготе под пинцетом медика — я люблю эти стружки, мне не нужно ничего более очевидного. Я украшаю этими свечками небольшие букеты из изогнутых ветвей подрезанных полиантовых, плетистых, миниатюрных и почвопокровных роз. Букеты я тоже люблю сообразных размеров — с курицу, чтоб вам дать сельскохозяйственную идею, люблю монохромные — в этом есть юмор, в подборе цвета один за другим по четверти тона, в выбрасывании совсем похожих, но неуловимой нотой стремящихся в совсем другой цветовой ряд. Люблю и полихромность — надо ли говорить, что подкладываю к цветку цветочек, будто слово к слову подбираю, — и смеюсь от точных рифм. Ай да Азя, ай да сукина дочь!

АЛЕКСАНДРИНА: Я — Александра Фризенгоф, баронесса, мать герцогини. Незаконной герцогини, непризнанной, законной жены, происхождение матери которой, баронессы Фризенгоф, посчиталось неподходящим для герцогского дома. Дочь выходила замуж, когда мне было уж под семьдесят, мы не были близки и прежде, к замужеству дочери я дала ей в приданое темную родословную, мои рваные перчатки на первых балах — их никто не считал, немецкие принцессы победней меня бывали — и дедушку-крепостного. Вот вам и Полотняные заводы, и екатерининские фавориты. Дочь бесилась от этих преданий. Откуда она и знала-то их, она никогда не позволяла мне ничего вспоминать. Ничего моего личного, будто ее в пробирке вывели. Она не могла заполнить в своем сознании пропасть между своим герцогством, которое она носила в себе всегда, как все своею судьбой полны с рожденья, и той случайностью, чуждостью, которой являлись мы, ее родители.

Я женщина с прошлым, славянской темной истории, с сорока годами прожитыми в чужих, с убитыми

мужьями, домах, с сестрой — женой убийцы брата. Так ведь написал Пушкин? Как предусмотрел, спрессовал родство и свойство — даже не реальные, а еще только по сговору: Татьяне-то Лариной разве брат был Ленский? Пушкин заклинал: почитай за брата, береги. Милая Таня преступила, не подумала, не пожалела, знать не захотела, писала свои поэтичные письма и соблюдала закон для себя, а юного поэта и немолодого по тогдашним меркам Пушкина — а всего-то тридцать семь годов да дети малые — Лета поглотила, не замедлив своих медленных вод. А кого забыли, кого не забыли — это дело пятое, Пушкина нет и нет с нами. Вот я жила в таком доме. Сестра Катя умчалась с Жоржем во Францию — в разгар жестокой зимы к ранней весне европейского юга, обезумевшая от счастья. Что бы ни случилось в России — с Россиею, раз в ней погиб Пушкин — с нею, с Катей, был Жорж. Когда я думала о ее счастье — ее состояние было счастьем, — я тоже с трудом могла понять, как можно ей было помнить хоть что-то еще, кроме себя и его, Жоржа. Даже просто глядя на них, кружило голову от сознания, что такие мечтания могут сбываться, такие браки — совершаться. Пушкин там стоял между или не Пушкин — это совсем было не важно.

Такая была у меня семья — последнее воспоминание о днях, когда моя семья была вместе. Герцогский дом Ольденбург такими происшествиями вовсе не интересовался, хлопотными историями и здесь было набито каждое семейство, Пушкина там никто не знал. Наталье — боялась ли я Наташу, хотела ли ее задобрить, называя дочь ее именем? — не хватало еще услышать историю про цепочку от моего крестика, которую нашли в постели у Пушкина и которую он перед смертью мне вернул, — мне все равно, если эта история и переживет два века, такая фамильная драгоценность переполнила бы ее чашу терпения.

Наталья по-русски не знала ни слова. В доме у нас русских книг не было. Я знала Пушкина с юности наизусть.

Пушкин был русский. Он никогда не был за границей. За границей останется почти весь его род, его дети, почти не знавшие его. Я, самая близкая из живущих, из помнящих его, живу совсем не в России, в местах, которых его взгляд никогда не касался и ощущение, что я еще жива — я очень стара — порхает между самой моей живой, плотной частью жизни и тем функционированием, которое четко отстукивает свои минуты уже столько лет здесь, в Словакии.

Я очень интересна. Чтобы понять, что у меня есть тайна, надо что-то обо мне знать.

Обо мне ничего не известно. Я худа, высока, длинноноса, я весьма образованна для женщины этих широт и выказываю необыкновенную восприимчивость к любым умственным вещам, я много езжу верхом и буду похоронена на горе. Я хорошо и строго одета, с русским желанием хоть чуть-чуть, но удивить зрителя своим нарядом. У меня один ребенок, поздно рожденный. Я владетельная персона. Я представляю собой элегантную фигуру, которой никогда не стала Катя и никогда не могла бы стать Наташа. Наташе некогда было о себе думать и выстраивать себя, и Пушкин расшевелил в ней эту человечинку, радость жизни не только публичной, но и совсем, совсем приватной, что она не хотела бы тешить собою толпу. Я же могу позволить себе быть ходячей литературной иллюстрацией — потому что этого никто не видит, никто не может этим пользоваться, это только я такая сама для себя. Появись я такой в России сейчас — они дали спокойно умереть непублично жившей Таше, — а на меня накинулись бы. Как на лакомый кусочек, который нюхал Пушкин.

МАСКА: Любила одного, убили другого. Убивший исчезает из жизни безвозвратнее, чем убитый.

МАСКА: Толстой мечтал о славе, ему виделось славное семейство: мать и дочь, обе Натальи, одна подращивает другую, ревнует ее к успехам, выдает — и купается в славе. Честолюбие Толстого было целомудренное, юношеское, идеальное. Наталья Николаевна была жива в жениховский возраст графа Льва Николаевича, русские литераторы доходили до такого экстаза, чтоб и на любовницах оставленных жениться, Толстой же был важный барин — он просто помечтал о такой для себя жене, которая своим чадолюбием выпестует ему дивную, легкую, безупречно женственную и отрешенную дочку, годную только на то, чтоб полюбоваться ею до шестнадцати лет и выпустить из рук — к какому-то жаркому, молодому, славного поприща господину. Дочки его с трудом бог знает за кого выходили, сыновья добродетельных супружеств не учреждали, жен искали с озорством, азартом, оригинальностью. Толстой только-только женился — и сел писать «Войну и мир», еще не видя в своем доме, как мать любит дочь осторожно, строго, как готовит ее к перебору женихов, ахая про себя, как могла грубая калужская барыня вырастить невесту Пушкину, забывшему о хорошем бы деле — жениться на доброй и веселой, с радостной страстью отдавшейся, предъявляющей свои требования, хитрящей со светскими законодателями, работающей все на него, на Пушкина. Толстому Пушкин был в зятя не нужен, но две Натальи украшали ему начало века.

ХОР ДЕВУШЕК:

Ворон к ворону летит,  
Ворон ворону кричит:

Ворон, где б нам отобедать,  
Как бы нам про то проведать?  
Ворон ворону в ответ:  
Знаю, будет нам обед.  
В чистом поле под ракитой  
Богатырь лежит убитый.  
Кем убит и отчего —  
Знает сокол лишь его,  
Да кобылка вороная,  
Да хозяйка молодая.  
Сокол в рощу улетел,  
На кобылку недруг сел.  
А хозяйка ждет милого,  
Не убитого, живого.

МАСКА: Пушкин мешался и суетился в его жизни. За что бы он (Пушкин — Дантеса) тогда его убил?

АНСАМБЛЬ МУЖСКИХ МАСОК: Господь создал все живое, строго поделив на два пола, и тем важнее эту определенность смешать. Одень актрису в мужское платье и затяни в корсет мужчину: что останется от их чувств, от их влечений, от их поступков? Или все окрашено только одной-единственной краской, эротической? Думаешь о завоевании мира или снижении налогов для малоимущих, а подразумеваешь возможность увеличения гарема и освобождения хорошеньких женщин для разнообразных любовных развлечений? Все не так? Почему ж тогда это становится так неубедительно, стоит только седовласому резонеру во время пламенной речи задержать руку на круглом задке официанта? Если речь о ЛЮБВИ, то надо поскорей определиться, имеется ли в виду страсть исключительно платоническая, бесполоя,

ни в коем случае не предусматривающая ни при каком развитии событий секс? Не утрировать, допустить, что суть игры — эротизм высокого накала, так воля ваша — если женщина станет против женщины, не касаясь ее грудью, лишь ощущая ту точку своего тела, которая ближе всего к телу другой, и понимая, что это за энергия в них друг из друга перетекает и насколько они могут — они готовы, это не бывает иначе — ею управлять, — то вычищенное этого эротизма нет никакого другого. Переодевания, маскарад, даже только в мыслях, даже в ролях, их маленьких фрагментах — это обязательное условие любовной игры. Что останется от влечения, если его объект сменит пол? Ничего? Ничего и не было. Один раз позволь себе быть честным с собой, закрой глаза и представь, что эта прелестная девушка, сосредоточие твоего вожделения, становится юным, юным, нежным юношей, в два раза ее полнее от нежных, упругих, тренированных и всегда закрытых одеждой мышц, — о, пошлость и асексуальность женского ежеминутного обнажения, дармового, площадного, для всех, для того, кто пожелает и не поленится — юноша строен, невертляв, он не выпячивает губок, не оттопыривает попку, — кто-то, насмотревшись у девушек, делает это, его надо пожалеть, поругать, он заигрался, все это — детали, главное — позволить себе один раз только увидеть свою возлюбленную возлюбленным и, увидев, увидеть, как любовь твоя, не исчезнув, возгоняется — раз у нее уже нет рамок — в какие-то недоступные доселе испытанным ощущениям выси. Ты захочешь отказаться? Если любишь — нет. К Пушкину велено испытывать пиетет, признавать яркость его чувств и поэтичность словоизлияний, его — любившего какие-то ланиты и перси, рисовавшего шляпки в своих тетрадах, ему, никогда не зажмуривавшемуся, не захотевшему отдаться ВСЕМУ, что есть в этом мире, не овладевшему

ВСЕМ, не получившему отказ. Мы готовы читать его исторические сочинения или наблюдения за природой — хоть и природа живет полнее, чем мог увидеть он, и история не так суха, — но так ведь он погиб за ЛЮБОВЬ! Принимая за нее семью, частную собственность и государство.

АЛЕКСАНДРИНА: Розарии не бывают красивы. Куст розы коряв, неплотен, повадлив на выбросы незаконных ветвей. Чем красивее ожидаемые цветки — хаотичнее, голее выпестовывающий их куст. Роза — не французский цветок. Розарии устроены в знаменитых парижских партерах, они не поддаются жестокой муштре, и там, они смотрятся там, как неумелая штриховка карандашом по сделанному отчетливой тушью эскизу. Их терпят там. Не обходятся — рассчитывая на эффект каждого отдельно взятого из миллионов цветка. Усилия оправдываются, новые сорта того стоят.

Каждый цветок претендует на восхищение. Как не похож французский розарий на демократические, такие эффектные и эффективные в садовом декоре безликие, сплошные пятна петуний — какого желаете цвета, цветом полный сезон! нетребовательны в уходе! — и других таких же неаристократичных созданий.

Французский цветок — лилия. Ей есть размер, рисунок, срок. Когда лилия цветет, ей ничто не мешает. Ее собственные листья почтительнейшими наклонами легко и ненадрывно сбегают по ровному, крепкому стеблю гармоничными волнами. После цветения лилия не создает хаоса, не приспособливается, не старается угодить садовнику — выжженное то поле битвы надо обойти стороной. Поверх лилий ничего не сажают. Лилии или ничего. Их срезают.

Роза — английский цветок. Она хороша в нерегулярных садах и неформальных видов.

Романтические парковые кусты, поникающие ветви, карабкающиеся на заброшенные постройки стволы, мелкие, невзрачные цветки, джентри усадеб-крепостей. Разве что чудаковатая леди выращивает сорт-диковинку под неусыпным надзором своей бесконечной старости.

Мне в розе важна биология. Я люблю ее за неукротимую пролиферативность, за королевское следование долгу. Хотя я отдаю себе отчет, какую статью расхода занимает у меня уход за розами, я знаю из агрономических книжек также, что роза опустится и задичает последней в саду, оставшись без должного ухода. Расцвет словацкого рыцарства давно позади, и в заброшенных замках полно запустелых, высохших, стойчески и призрачно цветущих розовых садов. Я спешиваюсь, как перед могилой, иногда срываю в горсть цветки — восхитительных форм, уже набравшихся дерзкого, животного, резкого и кружащего голову дикого запаха дикой розы. Они перешагнули какую-то грань, они никогда не вернуться и не станут шиповником, они погибнут одичавшей розой. Моя дочь — племянница Пушкину. Она не захотела его знать. За это она стала герцогиней.

МАСКА: Все можно рассмотреть ближе. Еще ближе, чем ты видишь, чем ты подносишь к лицу, к глазам, чем ты втираешь себе в кожу. Смотреть изнутри — это не пойдет, это бегство, оттуда уже не увидать никогда. Самое страшное лучше смотреть в упор, успевая понять, какой удар ты получишь в лицо.

МАСКА: В начале века рисовали яркими красками, будто только научились, как дети, боярыни поголовно грамотны стали не так уж и давно. Кто-то из современников сравнил стан Натальи Николаевны Пушкиной в придворном траурном платье из черного

атласа с пальмой. Хороши же были плечи с гладким кокосом маленькой головки! Женские плечи должны были всегда иметь достаточную ширину. Неандертальский абрис остроголового треугольника свое отработал в свои же времена. Широкоплечи были уже египтянки. Они тренировали, подсушивали тела еще при жизни, водянистая гибкость мадам Пушкиной, может, куда деваться, сгодилась бы в обиходе, но в рисунке ее бы прижали сухощавостью отмеренных циркулем пропорций. Красавицей вряд ли бы посчитали. А в прогретых философами-натуралистами теплых мечтаниях о будто бы заложенной природой в женщину едва подобранной сочности — она, конечно, кружила головы.

Резкий угол атласной, на китовом усе спины сообщал ускорение падению обнявших сперва плечи ладоней. Гимназистам было над чем подшучивать. Сцены с Наташей Ростовой и поручиком Ржевским родились из знания, что прототип Наташи Ростовской — именно она просвечивала сквозь Таню Кузьминскую — главная Натали русской мифологии. Толстому негде было подсмотреть Наташ, не над кем задумываться и лить слезы, для других женских персонажей он подбирал имена с сомнениями, без любви, отдал малосимпатичной героине имя ревнивой и необидевшейся жены, Наташу взял с губ того, кто умел яснее и прекраснее всех других сказать по-русски. Какое женское имя тот называл главным, несомненным по прелести — ему его надиктовала природа, родившая ее, а нам оставил его обыгранным всем тем, что придал ему, возведя в уникальный статус? Наташа Ростова стала хороша, будучи только еще названной.

**МАСКА:** Браки разыгрываются, как шахматные партии. Белое поле, черное поле. Роли всех фигур ясны, их можно менять — в соответствии с известными

правилами. Многоходовки вызывают интерес, удачные ходы — аплодисменты. Сейчас — так и пойдет — уже крупных партий играть никто не хочет, разыгрывают этюды, браки в миниатюре, отрывки из семейной жизни, картинки. Человек будто подписался на шахматный журнал и в определенное время ждет, когда ему зададут новую задачу. Справился, предложил нестандартный розыгрыш — доволен и сам, есть о чем посудачить и зрителям. Положить на это жизнь? Увольте! Разве это самое главное, разве нет других интересов?

Пушкин отнесся к суете на игральном столе с мрачной серьезностью, с пафосной щепетильностью. Оно, может, и понятно — тот, кто сел за карточный стол и проигрался в пух, — он не может весело расхохотаться над уморительными условностями, претендующими на содержимое его таким серьезным и общественно значимым трудом наполненного кошелька. Не садиться с шулерами — путь, может быть, и скучноватый, и осмотрительный, и дающий возможность — насколько? Насколько номинально азартные игры фатальнее и азартнее других, вроде бы не игрушечных обстоятельств? Кто и при каких обстоятельствах может определенно быть господином своей судьбы, держать ее в своих *надежных* руках и не подставляться никаким слепым превратностям?

Пушкин был честен в игре: светская чехарда не была тем полем, где он мог выходить, по-шулерски укрепленный своими талантами, всенародным поклонением и любовью, божественным даром и гением, — он не бился с Гоголем, не отработывал запрещенные приемчики на Баратынском или Жуковском, на Вяземском. Там, в литературе, для него была не игра, а жизнь, где он не обижал слабых и не хотел мериться силой с равными, поскольку главного игрового момента — победы, приза, удачи — здесь не

предусматривалось. А в светской жизни он выходил играть, распечатав новую колоду и не претендуя на форы. Такой же, как все, Пушкин. Чем лучше? Это он понимал прекрасно — ничем, оскорбился бы, если б кто-то заподозрил его в желании получить скидки за свои таланты. Светскому человеку их приходилось скрывать, любую победу демонстрировать, прежде всего убедившись, что шансы на этом поле у него были равными со всеми другими игроками. Забывшись, можно получить *гонорар*, купюру под резинку чулка. Пушкин проявлял толстокожесть начальника канцелярии. Ничего не знаю, извольте объясниться. Несостоявшуюся болдинскую осень пробежал, расширяя ноздри и чуть не до удара себя самого доведя.

А всего результата — что свояченицу замуж выдал. Пушкинолюбам задачку подкинул: что и что бы было, как Пушкин бы Дантеса застрелил? За что и как — судите, если судьями себя считаете.

Ушел ли бы в монастырь? Не смешите. Смиренья в нем было не больше, чем у изъязвленного, израненного, обреченного и откормленного быка, испанской забавы. Кого любил, перед кем был готов смириться?

Убийством это считали все. Положим, дуэль. Каждому поровну. Но ведь Дантес своей половины шансов не искал? Стрелялись многие. Но ведь не на таких условиях? До таких и Дантес доходить не хотел. Он подавал Пушкину знаки: я играю, я кричу: «Сдаюсь!» — ведь это не шутка, Катишь под венец вести, Пушкину в доме свободней, а мне-то жизнь с нею жить?

Состряпались письма. Уж не понятней ль понятного: остановись. Ты уже никогда не будешь незапятнанным мужем. Ты смоешь наружный, тобой же замешенный, не остановленный тобою вовремя позор тяжелым поединком: чем тяжелей условия, тем очевидней твоя вина плохо смотревшего мужа.

В свою последнюю в жизни пору, на болдинские подвиги предназначенную, Пушкин написал три стихотворения и неслыханное — не по низости ли? для чего ж оно? — письмо к Бенкендорфу. Нашел себе корреспондента. Что это за манера, за прием — писать к шефу жандармов? Много ль у того в архиве писем от мужей? «Сообщить о том, что произошло в моем семействе?» Разве кто спросил? Не глава ль ты своему семейству без зрителей? «Граф, позвольте мне сообщить...» Па-азвольте!

МАСКА: Как век наш неустроен... Комфорта много, но как зыбок! Для самых простых нужд: обогрева, пропитания, поездки хоть и недалече — везде нужны труды, обученные люди, зависимость, изобретают то для того, то для сего машины, да скоро ль они так войдут в жизнь, чтоб на них можно было б рассчитывать? Так и нужен везде лакей. Опил, объел, говорит по-французски... а без него никак. С ним же — чистая посуда, натертые безделушки, карету кликнуть, подать трубку. Устроиться можно. Приятно думать у лежанки: Пушкину бы и залечь за рукописями, писал он утром, не вставая, какие утра бывают по поздней осени! То все заснежится, засверкает, что те зима, льдом все лужи приберет, то раскиснет и затеплится, как заново травой пойдет, то захмурится, угрозится, заклонит деревья к земле, понатянет тучи! А ты все у лежанки, и бумагу тебе несут, и кофе. И жену можно через три года с двумя новыми детьми в Москву везти, кто тебя на дуэли позовет?

Ох, не хотела Наташа в деревню! Нравиться другим — как ни объясняй, что это — потому что в диковинку, потому что хочется поиграться, что маменька не баловала, а все ж на минутку задуматься, так и поймешь жену молодую, которую муж другому не учит...

ДИПЛОМАТ: Пушкин был противу правил. Он ПОПРОСИЛ Дантеса назначить — найти, обратиться с предложением, изложить суть дела, уговорить — предоставить ему секунданта. Попросил дерзким, небрежным, будто б о деле решенном тоном, боясь навязываться с таким бестолковым, тяжелым, МОКРЫМ делом своим друзьям или — знакомым. От ЗНАКОМЫХ боялся услышать отказ. Его тема — «Египетские ночи» — во сколько себя оценит Клеопатра и какую цену не побоится назначить. Клеопатровой пресыщенностью и пушкинским застарелым неврозом цена определилась одна: жизнь. Пушкину надо было остановить грустный взор на каком-то юном почитателе, который рискнет за него тем, защищая, что Пушкин оказался под дулом пистолета: общественным положением. Он к тому времени уже был в чиновном — мелкочиновном, в любом случае чиновном, относящемся к николаевской России мире, не мог не бояться чиновничьих катаклизмов. Дуэль — всегда событие в послужном списке чиновника.

К Дантесу отнесся оскорбительно, унизив при этом, как водится в таких случаях, себя — желая обмануть его как иностранца, как не знающего и будто бы не могущего узнать обычаи. Дантес, быть может, и испугался — как испугался бы всякий, видя, что имеет дело с решившим идти до конца — и не в том деле, которому он бы сам хотел иметь конец. Но он не потерял голову, он не забылся, как Пушкин. Ему говорили о каких-то специфических русских обычаях — он не пустился в их изучение, он пожал плечами: кажется, мы играем во французские игры, зачем добавлять азиатских пряностей, будто бы удивительно улучшающих вкус большим опытом отшлифованной cuisine? Ему не было нужды в экспериментах. Дантес с раздражением разоблачающего попытку одурачить

осознал главное: они бы играли с Пушкиным в разные игры. Он — в довольно рискованный, социального и правового значения феномен, довольно сложный в организации, с большими ставками на выигрыш и проигрыш — дуэль, а Пушкин — тот занимался бы каким-то экстремальным спортом. Адреналин, отработанная меткость, психологическая подготовка. Удалой боярин-молодец выходит мышцы размять воскресным днем на Москву-реку, а то и убить метким молодецким ударом какого-нибудь знаменитого, — или безымянного, кто ими будет заниматься — борца — честь, молодецкая потеха, здоровье! Уж вы предоставьте мне секундантов, да всего, что там полагается, а я, откушав в «Вольфе и Беранже» пирожных, по морозцу и примусь... за отстрел...

МАСКА: Чинное течение судьбы — знак сильной жизни, удела гения. Гению некогда ворочаться, перерабатывая все новые и новые жизненные обстоятельства, переживая новые перипетии и воспринимая густо намешанные хитросплетения судьбы и ее повороты.

ГОГОЛЬ с зеркалом: Кто пожалеет Пушкина? Будто и не было никого в России, кроме Гоголя, тоненько вскрикнуть: «Вернусь домой — а Пушкина нет!», неняный плакальщик, горем объятый человек, ни семьи ни дома, один Пушкин. Ни адреса, велел писать на пушкинский, все смеялись, хлестаковничал: в Царское Село, да Пушкину, а ему так тепло было, так по-домашнему. Надо-то ведь ничего не было, ах, если б Пушкин постарше да бездетный!..

Строил свой городок, свою Российку, своих человечков сочинил и расставил, все мастерил, все выдумывал, не мог остановиться, все творил и творил, ездил в другие страны — вот бы отвлечься,

понаблюдать за впечатлениями, попереживать другую, реальную жизнь, как там люди и страны живут, — нет, все свое сочинял. Кому бы показать, чтоб не просто удивились, — в поклонниках недостатка нет, да все нули, он для них — диковинка, они похлопают чему угодно, ему б сойтись, как звезде с звездой, ему б Пушкину угодить! Ах, какое счастье — Пушкину понравиться! Ах, какое счастье, как увидеть, что и Пушкин не исписывается, что гений — это надолго, что это так много значит. Пушкин так правильно живет. Так по-простому — ему, Гоголю, так никогда не удастся, но правильность Пушкина защищает и его — слабого, больного — как брата. А вернись-ка домой, когда брат убитый? Они считают, что жена была нужна, дети, — и Пушкина-то и не стало. Страшно, страшно Гоголю возвращаться в Россию, рукописи везти не хочется, там убьют тебя за то, что ты захочешь играть с ними в одной песочнице. Они-то — играют, и ничего больше, они хорошо знают все правила. И ничего, кроме этих правил. А ты — правила-то тоже вроде знаешь. Да голова другим забита, пробуешь все делать механически, как какой-то на тебя похожий человек, с твоим типом характера, с твоими будто бы настоящими реакциями, — а ты и так поступить можешь, и эдак — ты своим героем можешь вертеть — что тебе настоящая твоя жизнь? — а уж «настоящая» — там могла быть любая другая — жена? Нет, они ловят. Заставляют все серьезней и серьезней в игру включаться, дергают, колют — взаправду ты иль нет? Упаси Бог, увидят, что притворяешься, — тут уж до настоящих слез непременно доведут. Пока не убедятся, что плачешь по-настоящему, что вся жизнь у тебя теперь — слезы, — не отстанут. Не своего — будут мучить и мучить, сколько сил хватит. А силы их бесконечны, они — это все, а ты один.

И ты для них — не думаешь, не сочиняешь (ты это делаешь для себя), ты для них — пишешь. Зачем для НИХ писал Пушкин? Зачем не сжег всего?

МАСКА в военном кителе: Пушкин хотел, чтобы перед ним расступались. Чтобы не на покупных листах литературных журналов был бы он первым, самым зазывалой, приманкой-товаром, а уж вот и по бальной бы зале ему идти, а все б почтительно склонялись. Такая утопия, такой фантастически устроенный мир. Лет, наверно, на сто ему позже родиться — и дожил бы он до прославления писателей и поэтов. «Египетские ночи» никто б не понял, как это стыдиться звания стихотворца? Которого царь знает и чернь читает? Тиражи — миллионами, всех задвинуть, его одного оставить. Сколько ни напечатаем — сметут. Наталья Николаевна такой красоты могла бы и не иметь — у нее все равно будут и драгоценности, еще поярче — рубины. Такие светлые бриллианты как-то слишком ярко, прозрачно, царственно. А вот рубины — самый наш камень, кремлевский. Звездный, солидный, кровавый — кому-то ж надо и платить. И сразу видно. Будут платья. Все бархатные, боты. меховые накидки. Пополнеет. Детей столько не надо. Какие-то архаичные ассоциации. Да она и сама не захочет — и из-за того, что какие-то сомнительные идеалы этим откроет, и — а вдруг бросит с выводком? На жен закон будет самый легкомысленный — свободна, мол, и кузнечиха своему счастью сама. Новые генералы — уж вовсе не женихи.

Пушкину первым не обязательно БЫТЬ — назначим. Работать — все равно надо. Поездка в Оренбург, по пугачевским местам, — ну поразительно, как все правильно из воздуха ловит. И про Пугачева, и про Стеньку Разина, и про героев-комсомольцев, и на Соловках будет что показать, до такого не додуматься

— он отступит в почтении перед таким новым поворотом мысли, истории...

А уж как сидеть будет — первостепенный боярин позавидует. Самым первым о правую руку посадим, ерничать, но и хмурить брови пусть научится. Дадут и перед собранием выступить, и в главной газете самой главной статьей будет вступить вместо манифеста царского — его слово, пушкинское. Денег дадут больше других. Дадут орден. Дачу у Китаевой вдовицы отберут, дадут ему в приятное, тайно ностальгическое — понятное, как же, из бывших! — пользование, с шагами влиятельных предков по ночным комнатам, с робкими инопланетными взглядами за забор прохожих с их уплотненными жильями. Никто не осмелится дать ему пощечину, будь это хоть самый самородный из молодого, незнакомого племени, никто не плюнет, никто не уступит дороги в сортире писательского клуба.

ГОГОЛЬ: Пушкин в Риме? Художникам — ездить в Италию, философам — в Германию, писателям — во Францию. Гоголь поехал в шляпе, в блузе — в Рим. То ли сочные, яркие картины под полуденным солнцем, то ли удлинённые, вылепленные обмазанным жиром вяленого пота масличноглазые лица хотел увидеть, наскучив белобрысыми, да коротконосыми, да щербатыми от плохого питания да драк, — а то ли просто хотел по старой памяти погреться. В Полтаве жарко, душно, по осени долго тепло, по весне теплеет рано, и так все греешься, греешься, а потом зимы короткие, веселые, печи топятся хорошо, летом много подушек в сад выносят, земля сухая, небо белесое. В Петербурге все не так. Пушкин называл царскосельские парки садами лица. Разве это сады? В садах вишни растут, а здесь — страшные, огромные, для царей высаженные лиственницы и липы. Игры с мальчиками под ними.

Разве с матушкой это, с няней? Пушкин был здесь у себя, а Гоголю надо было отсюда уехать. Нельзя верить, что Италия — это была реальность, и даже Пушкин завидовал ему. В Италию Пушкин и не прежде бы всего захотел. Длинноносые красавицы ему прискучили бы быстро, тонкоголосые юноши — тем более. Вязкость общественной жизни — Пушкин был классиком, ему важна была имперская иерархичность, статика, торжественность — чтоб он позволил себе над этим воспарить, ее бесформенность, фрагментарность, разделенность Италии — Пушкин бы заскучал от этого хаоса, мешанины. Пушкину здесь все было бы излишне. Что может быть завлекательнее холмов Тосканы? Какая-то нереальная живописность, дивной гармонии разнообразность, кущи и тучные поля, поместья и замки, колокольни. Горы и реки. Глаз не оторвать.

И представить себе пригорок за Тригорским, промерзший черноватый перелесок, снегом покрытые равнины и выметенный злобным ночным ветром последний ноябрьский неприкрытый косогор... Речка тоже снегом еще не вся укрылась, в голых местах лед голубеет, блестит. Просвечивает... Сознание расширяется, сносит голову, лоб растворяется в воздухе, вся картина псковских пейзажей, мироздания, людских устройств оказывается внутри твоего черепа, без границ, без органов чувств для их восприятия — глиной в твоих руках...

Вы еще скажите: Венеция. Пушкин и Венеция — это перебор, это слишком пестро.

Гоголю не сиделось. Он не мог смотреть на мир — российский, царский, так властно, ему бы надо бежать и писать о том, чего никогда будто бы не бывает в этой стране, России. О сумасшедших, переписывающихся с испанским королем, о Коробочках и Собакевичах, об инкогнито из Петербурга, о Вие — о всем том, что есть, он это видел — но этому нельзя пожать руку и

представить друзьям. Он должен быть там, где он с ними один. Со своим носом. В Италии многие носы похожи на его собственный, это успокаивает.

Разве Пушкин бы стал писать о своем носе? Он только сам, весь, цельный, как сперматозоид, внедряется в этот мир — и только от него образуется жизнь. Он не знает другой роли.

МАСКА: Свеча горит огнем. Живым, жертвенным. Хлопок и сало, стеарин и воск исчезают у тебя на глазах, проживая три классических возраста. Не где-то там энергию для освещения твоих трудов или забав вырабатывают далекие генераторы, а ты сам своею волею возжигаешь огонь — и тушишь его, или — присутствуешь при последнем акте потрескивания, выпуска усиленного, удвоенного, напоминающего о грубой физической природе заканчивающегося процесса — выпуска дыма, — до этого момента лучше не доводить, не экономить, черны потолки и так без предкромешной копоты. Пушкин сидит и пишет, свеча горит. Свечи закуплены загодя, лежат в пачках, обернутые промасленной бумагой, в кладовке. Свечи разных сортов, разного качества. Придумают электрические лампочки — свечи будут возжигать для красоты, для романтики, как кататься на впряженных в двуколки каретах по Праге. Как нанимать гондолы на венецианских каналах, как в белых одеждах и кожаных сандалиях бродить по улочкам Иерусалима, как заказывать свои портреты на фоне лестниц и канделябров. Один раз напился этой мертвой воды — эпоха отойдет от тебя, некрофила не посчитает за бессмертного любовника.

МАСКА ПУШКИНА: Аннет, Аннет, Аннет, вся псковская земля, ужатая для него до трех деревень, — он с соседями вообще-то знаться не желал — была

полна одними Аннами. Зачем выдумали люди имена, если называют друг друга, соплеменников, соседей, дочерей одинаково? Деревни, города и страны, полные тезок. Деревенская бальная зала, полная тяжеловесными греческими поповскими именами — Зизи, Коко, Алина — и элегантной простоты Аннами. Пушкинский донжуанский список длинен. «Анна» — не так уж выигрышно, не сразу озарится память, не сразу разыграет кровь там, где потешить ее хочешь, вспомнив давние забавы, будь хоть какой Аннета: юной — совсем юной, замужней, мучимой мужем, оставившем ее без копейки денег, бешено ревнивым, написавшем о своих резонах государю, открывшем в ней сильное и неутолимое женское начало — бедная, она искала ему утешение, не особенно перебирая. И была хороша. Особенно хороши были глаза. Круглые, темные при свете свечей — утра-то жалко, утро для работы, вавилонские ночи начинаются ввечеру — черными глазами все поблескивают, пересаживаясь с кресел на диван, а особенно — выходя в сени, а то и в соседнюю, темную комнату, будто платок забрать. Такие глаза — лучше всякой красоты, круглый птичий взгляд ни о чем тебе не говорит, кроме одного, а тут еще смягчен смышленостью, добротой, искренним поклонением — она и смолоду тебя читала, а как узнала, что — в соседях, — уже ничем другим жить не могла, и — беззаботностью. Что в женщине разожжет более, чем ее ничейность, незащищенность: ни у нее претензий, ни за нее не спросят, когда хочется бедной и самой Аннет, когда не ждет она стихов иль заверений в любви, когда подрагивает она своим тельцем — хоть для него, Пушкина, хоть для Алексея, для Вульфа. За что я ее вавилонской-то блудницею? Вавилонов ей не надобно, хорош и тесный, теплый, тихий тригорский вертеп. Смотреть — как сквозь волшебное стекло. Чуть откинешь голову — благообразие, любовь к поэзии,

вечная любовь к Пушкину, почтенная старушка и дочери — почти все выданные замуж, одна от несчастной ко мне любви засиделась — так это так всегда бывает, кто-то же и должен остаться. А вблизи — Аннет и Сашенька, и Алексей — и с моим мимолетным виденьем при любом случае, хоть при ее отце, и со своей сестрой. И с сестрой Аннет... Девушки в летнюю пору съезжаются в деревню, все сестры, все кухни, ходят в тени, в утренних белых платьях — ах, это я опять смотрю с другого конца волшебной трубки...

АННА КЕРН: Еще бы мне, Анне Петровне, и кого-нибудь ревновать! Пушкин своей Мадонне таких стихов не подарил. Мне он написал: «Я помню чудное мгновенье...» — не мне — своему собранью, меня он так никогда и не полюбил — чего желать доброй женщине. Жениться ему на мне нельзя — не может же Пушкин так, ни на ком, жениться, что я буду мечтать, яду ему в чай сыпать, иль Наталью Николавну толченым стеклом... И мужу моему Володеньке к загробной тени ревновать не приходилось, он мальчик был, наши дела взрослые, он, кажется, и не понял, и понимать не захотел — когда жизнь суровая, то на бриллиант смотришь, размышляя, за сколько его можно заложить, а не какие тайны он хранит. Нрав мой веселый — я и всплакну, когда романсы про чудные мгновенья запоют, и делами займусь, и жаль, жаль, что и круг, и досуг, и средства не те, чтоб себя холить да засмотреться на кого-то, как на яблочко едва спелое, Клеопатрой, с гордостью за свои года, за свои победы. Покойник Александр Сергеевич бы одобрил...

ИННА: Любите ль вы Пушкина, так, как я его люблю? Знаю наизусть, это нетрудно. Мама читала в детстве самое трудное, чтобы не понимала. Захочу — буду читать сама, не захочу — СЛОВО уже будет мне

проповеданным. Клетки мозга не восстанавливаются, но, покуда живы, они чисто и светло, по порядку, в полной гармонии заполнены Пушкиным. Сейчас кроме прочитывания вдруг, зачем-то, то одного, то другого произведения самое вкусное — ловить какие-то фразы, какие-то реплики, какие-то отрывки из дальних томов. Не очень значимые — наверное, и для него самого, но подтверждающие, что он — жил, что его собрание сочинений — не найдено в пустыне, вздохов над ними, мечтаний, прилаживания ко всему корпусу готового — какая-то бы сфера создалась бы, если б и эти наметки массой стихов и прозы обросли? А хоть и на портрет его посмотреть — мельком, привычно — тоже приятно. Внешность его необычная, непонятная, больше таких не стало, раньше тоже не было, зачем он был задуман таким маленьким и таким черным, разве нечем нас было еще повеселить? Такой вот Пушкин. В родне его бесчисленной найти фамильные черты трудно. Наталья Николаевна — как анатомический атлас, никаких характерных черт, одни астенические вертикали, сбой этот генетический убери — физиономии и не вспомнить.

Пушкин — слишком некрасив, чтобы его черты видеть в дочерях и внучках-красавицах, а мальчики тоже все в матерей. Род был большой, плодовитый, небогатый — а как-то стерся. Да и слишком ярок предок, что б к потомству с какими-то надеждами подступать. Странно видеть их разноязыкую толпу — в каждом сердце должны пушкинские строки биться, а где их взять, если он ни скачки петергофские не описал, ни сдачу Москвы Наполеону, ни старушку-процентщицу, ни вишневый сад? Как это пересказать, как запомнить? Уважить народ-почитатель, конечно, нужно. В какой стране еще ты увидишь цветочки на могилке братика — Шекспира, скажем, буде существовавшего, — умершаго во младенчестве, за тихой церковью в Подмосковье похороненного? Самим

Пушкиным едва ли вспоминаемого — а поклониться приятно... Собираются и Пушкины.

ЕКАТЕРИНА: Сколько людей в пушкинском окружении! Сколько подруг, любовниц, возлюбленных, друзей, врагов. Нет друга единственного, нет одной любимой, нет друга сердца. Есть тяжелая артиллерия — есть я, Катишь.

Он примирится со всеми. Жорж — его убийца. Он должен его простить. Пушкин — это Пушкин, он будет в раю, в раю сделают так, что он очистится от всего, от всех грехов. Его заставят простить Жоржа — наверное, это будет нетрудно, раз он уж будет там, не думаю, что ему захочется возвращаться, Жорж будет его проводником в такие замечательные места, и он его с радостью обнимет и поцелует в уста.

Трудней, наверное, будет простить себя — за то, что он и сам стоял с пистолетом. Неужель хотел убить? Только оттого, что тот хотел подсмеяться? Сколько людей насмешничают друг над другом в свете! Не убивать же разом!

Нужно будет все вспомнить по порядку, все свои утра, все скрежеты зубовные, все эти приливы крови к голове, когда представишь, что надо выходить из дома, бежать по городу, заезжать в дома, находить, встречать людей, которым надо будет или рассказывать, или намекать, или бросать реплики, чтобы те передали их дальше, — ни одной минуты в покое, ни одной минуты, предоставленной самому себе. У него будто бы что-то спеклось в голове. Он не мог писать, чистая струя поэзии не перетекала уже через его бесплотный, легкий, восхищающий физический облик и привлекательные привычки, в нем зрело что-то еще гораздо более серьезное, чем было раньше и чем мы ждали от Пушкина. Он должен был бы вступить в другую фазу. Не мне судить. Я умерла молодой, мне до

жизни было мало дела, я убила своего брата и убежала со своей родины, я не была любима своим мужем — какой несчастный случай послал его мне! — мне хватило бы робкого петербургского чиновника, а за веселого незнатного преображенца я бы блестящей партией бы вышла — я изо дня в день на чужбине видела своего мужа с человеком, который действительно был ему дорог. Был нужен, был интересен, заполнял его жизнь и с которым тот останется на пятьдесят лет после меня. И будет мужчиной — я буду жить как в стеклянном шаре — все видя и не имея возможности протянуть руку и дотронуться хоть до одного из них. Они — другой расы, они не хотели моих прикосновений, ничего более чуждого, чем я, они около себя больше не имели. Я рожала детей непрерывно и умерла, истощенная этими беременностями и родами. Слово «литература» было для меня той веревкой, которую нельзя употреблять в доме повешенного. Я обрела покой только на небесах. Я там, где сейчас Пушкин.

Но я сделала в своей жизни все, что могла, мне удалось во сто крат больше, чем я могла рассчитывать и чем кто бы то ни было хотел бы мне дать, а убитый мною Пушкин — я из команды убийц — не сделал, я не знаю, какой части, у нас здесь нет мер и весов, но он не сделал главного.

Мы здесь все очень прозорливы, мы видим все в истинном свете, Пушкин для меня здесь не несостоятельный свояк, добрый, неприжимистый, без средств, увлекающийся, не нашедший широты души, чтобы махнуть рукой на свои не по летам щепетильности и юношеские ревнивства, — уж пристроил бы меня да и руки б потер, а — как для всех — Пушкин. Мы здесь тоже все на разных ступеньках сидим.

Когда я готовилась выйти замуж — вернее, я не готовилась, у меня не было шансов — когда моя заскорузлая судьба медленно и ржаво поворачивалась таким концом, с которого я вдруг каким-то ослепительным вихрем была сметена и вброшена совсем в другой круг, — ничего главнее в жизни у меня не было — Пушкин готовился тоже к серьезному перевороту в своей судьбе, писательской, конечно. Муж Наташи — это ведь не главное его предназначение было, верно? Ему в этом никто помочь не мог. В таких вещах пропозиций не делают. Здесь он сам и невеста, и полуночный жених. Он должен был взять сам себя и пребывал в таком же возбуждении и тревоге, как это бывает всегда. У него была и неуверенность в востребованности старой девы — уже не писалось, и нежелание менять комфортных привычек старого холостяка — положение в литературном сообществе было удовлетворительно. Но он был вроде беременной невесты или ожидающего долгожданного первенца отца. Как мой Жорж — к моему ужасу, я рожала ему одних девочек. Сравним их с пушкинским творчеством до последнего года. Оно было прекрасно — был рад и Жорж, им с бароном и тех бы не родить. Но рождение сына, отнявшего у меня жизнь и увенчавшего семейную карьеру Дантеса, — это было что-то особенное. Ожидание такого истинного наследника — нового поворота в пушкинском творчестве — больших, прозаических, великих произведений — очевидно, тоже отняло жизнь у него. Он готовился. Но дали не ему. Пушкина просто убили. Кто, чьей рукой — не важно. Это вообще-то и интересоваться должно бы только меня, потому что я каждый день ложилась с его убийцей в кровать и старалась сделать так, чтобы он был всем доволен. Мои дни и вечера, моя гигиена и мои туалеты, мое возбуждение от постоянно кормящего тела и полного плодами чрева — все было направлено на то,

чтобы убийца Пушкина насыщался мною не просто, не второпях, не по обязанности, а с самыми утонченными удовольствиями, с самой ненаигранной полнотой, чтобы со мной, сестрой его жертвы, было б забавней, ну или хоть так же забавно и весело, как с серьезным партнером, настоящим его близким человеком — Геккерном. Об этом были заботы всех моих предсмертных лет, этим закончилась моя жизнь.

Она и не должна была длиться, я все успела.

Пушкин же к чему-то готовился — не написано ли все заранее? что, ничего не удалось бы больше и ему? — выливал эту прогорклую энергию в строительство отношений в обществе. Это самая эфемерная вещь на свете, этим можно заниматься всю жизнь, достичь всего — и всегда найдется кто-то, кто твою позицию увидит в противоположном свете, или низвергнут тебя, все отвернутся, это города и замки из песка, это хороводы воздушных змеев. Он хотел создать себе какое-то крепкое, завидное, непреложное положение. Засесть там целым семейством, чтобы царил и его неприметная, робкая, им возведенная в ранг царицы — но на время, пока не наскучит — жена, потом бы и дочерей ввел, сыновей бы представил. Ну так и занимайся всем этим. Поэты в свете не царят, им не найдется досуга быть еще законодателем дум и обычаев. В любом случае решается все это не в одночасье, не наскоком — и уж тем более не скандалом.

Он нажил за жизнь столько, сколько никто ни до него, ни после в России. Не надо в мир иной уходить, чтобы увидеть: главнее Пушкина в России нету. А значит — я видела это, мы в доме чувствовали это — работал он два часа в день, но был в нашем доме воздух какой-то другой сгущенности, чем бывает, где просто люди живут — он не мог остаться без работы. Это свое общественное, светское, постороннее его духу делание он возвел в обязанность, в обет, в каторгу. Он не мог

остановиться и дошел до конца. Он хотел провоцировать, обозначать позиции, отслеживать подтверждения своего статуса, реализовывать вещи совсем фантастические, нигде не принятые, вербовать сторонников из врагов и врагов всего свободного в России себе в наперсники звать, ему и письмо подметное друзья его разослали — такая с ним была путаница, спесь, безумство. Пушкина не было в те дни — кто бы на него руку поднял, это был кто-то в его обличье. Он сам выбрал себе Дантеса, потому что Наташа ему бы шансов не дала, цель Пушкина от него бы не ускользнула. Наташа была так слаба, двух-трех взглядов, с чувством сказанных комплиментов — а уж томности, болезни, нескрытого ухаживания — вынести не могла. Не устояла, сдалась без боя. Мужу осталась верна, даже на это сил не хватило, измены — это поступок не для нее.

Пушкин ее темперамент знал, ее маменькино воспитание.

Что получил бы он, закончись дуэль по-иному?

Я вдовой осталась бы в доме барона Геккерна. Посланника, министра, ему б иной хозяйки салона и не надобно б искать. Что б делал Пушкин? Кто пустил бы в хороший дом Наталью Николаевну? Какие б впечатленья обогатили б воображенье сосланного, верно, поэта-убийцы? Убившего за то, что с его чинами и летами не посчитались, что он жену напоказ выставлял, что теткинскими бриллиантами ее украшал и царским вниманьем гордился?

Мать семейства юной амазонкой по дачным лугам скачет не потому, что перед мужем покрасоваться хочет. Я сама мать, я знаю, сколько досуга остается после общения с каждым, рожденным или носимым.

Мужу здесь забот больше, чем голубю, комичными силами тщедушного лихорадочного тельца и бьющегося

от любви и страха сердечка охраняющего всем сладкую голубицу, сидящую на гнезде.

МАСКА: Выхолить бы старость, как холят молодость! Девушка хороша, конечно, сама по себе, но — глядится в зеркало, придумывает позы, выкладывает косу наперед. Готовится к жениху. Старуху ждет жених еще более важный, главный жених, который возьмет ее уже навсегда, перед которым не слюкавишь, абы выйти. Верно разве, что девушка пестует свое тело, а старуха — уже только о душе? Еще лучше попадетя, если девушка с мыслями, с душевным попечением, — а старуха тоже должна образ Божий в себе не затирать, выставиться с гордостью. За девушкой смотрит мать, девушка знает, что должна блюсти себя строго, — старуха сама себе голова, она должна быть хорошо одета, следить за своим телом по мере продвижения возраста — есть даже один пикантный момент, когда можно позволить себе быть завлекательной — чисто, отстраненно — как бывает на людях хороша двенадцатилетняя девочка, всем привлекательная, все ею любуются, ее точным копированием прелестей взрослой женщины, но никто, если не нацелен специально на поиск разжигающих объектов, ее в прикладном значении не воспринимает. Такой же привлекательной обязана быть и старуха, она даже бант в заколотую косу может приладить, или бантиками украсить чепец, и надеть кольца, и, пока не скрючило, сидеть прямо, косясь строго на гнущиеся, гибкие спины молодух — и никто не отберет у нее ее времени готовиться. Ожидание — это радостнее всего.

И Александрина, и дочь ее герцогиня Наталья свое время упустили. Обе, уже малорусская мать и совсем нерусская Наталья, зачудили сильно в старости в дедушку Гончарова, прадедушку детей Пушкина, одевались в растрепанные одеяния, ночевали в башнях,

гоняли скромную работающую словацкую прислугу, как крепостных девок, замученных и ленивых: ночью, по снегу, непонятно зачем...

МАСКА: Век был долгий, они обе в какой-то момент отказались его доживать, будто надорвались.

Александрина, всеми силами входящая, влезая в дом, в семью Пушкина, закрывающая ему глаза, утешающая Ташу, фрейлина — все Пушкина дарили, — с трудом пришедшая к безупречному замужеству, и дочь ее единственная Наталья, сражавшаяся за имя, подвергавшаяся законным преследованиям, — это вам не без папенькиного-маменькиного благословения замуж в русской глубинке идти, хоть и там по начальству дают знать. Герцогство — владетельный дом, Ольденберг. Какие такие русские, дедушка в дворянское достоинство возведен. По-э-ты — нет, такого хотя бы слова не было сказано, да оно бы и ни к чему, будь то хоть Гете, барону Фризенгофу лишнего не надо.

Но Наталья не была признанной герцогиней ни при жизни, ни после смерти. Детям дали имена небольшого имения в герцогстве. Графы. Они уже призраков не ловили и вели себя очень культурно. К русской славе, к тому, что каждый русский, буде знал бы про тени их дома, входил бы с трепетом, — не ревновали.

АЛЕКСАНДРИНА: С кем сейчас Пушкин из живущих, кому он принадлежит сейчас, кто ему есть сейчас соперник? Та, которая выходила за него замуж, которая носила его имя, — где она сейчас? Ее нет, нет. Нет и никого, наверное, и из его пленниц, схваченных и заключенным им в его стихи, — на всей планете живет сейчас с Пушкиным одна Александрина. Она живет в доме, полном призраков, посреди гостиной висит портрет Дантеса, beau frère, все еще красавец,

французский видный деятель, дочь вывозить — родней считаться... О Пушкине в доме говорить нельзя, они с супругом расскажут под запись дуэльную историю — как все и без них ее знают, а то, что знает она одна и о чем, как все думают, догадывается муж, — это не для этих стен. В замке целый век будет тишина, не будет произнесено имя Пушкина. Даже эмигрантки-Гончаровы, рассеянные по миру дворянки, гости потомков Фризенгофов, никому не напомнят, чьи тени здесь бродили... Выжившие, пережившие — поднимаются на более высокую строчку в турнирной таблице, как в спорте. Кто пережил всех, тот чемпион. Борьба за жизнь, то упорная, то только на везение, матч идет, и Александрина — победительница.

**АЛЕКСАНДРИНА:** Незаконная герцогиня еще лучше законной. Законную назначили, выбрали из тех, кого нельзя не выбрать. Они сидели в своих домах, фамилиях, землях, известные и пронумерованные, на кого-то и выпал выбор, кому-то — не отказали. Неравнородную — увидели саму по себе, посчитали, что личные ее неотразимые чары стоят истории герцогского дома.

А для интереса, для сказки, для балагана — незаконная герцогиня еще лучше законной.

Личные достоинства перевешивают достоинства рода, записанные в анналах, за каждую строчку бились они, их предки, гнали на смерть вассалов, сиротили семьи, отдавали детей. Все — веками. Герцог сидел в театре, гордо подняв голову, служащая с номерком была готова упасть в обморок, его дворецкий знал, что тот, кто пришел к его светлости по нужному, коммерческому делу, будет принят и, куда ожидает в приемной, не посмеет занести ногу на ногу. И потом находится старший сын сестры, которого до смерти обоих сыновей герцога вовсе не готовили к высокой и

суровой должности главы дома, и, уже вступив на стезю наследника, думает ввести в этот дом маленькую русскую или румынскую какую-то там шляхтинку. И она уже убедительно, тончайше верно в каждой сдержанной и не напоказ детали усвоила все, что надо для исполнения роли, как гениальная актриса. Или не гениальная — но все актрисы хороши, когда на них женится главный режиссер. Если гениален он, то и она будет каменно молчать или закатывать совершенно настоящие, не разыгранные истерики ровно столько, сколько надо, так, чтобы зритель верил всему. Если режиссер не столь уж велик, так и театришко, и зритель его — все в одной гамме, его любимая актриса все равно будет примой и эта прима будет от Бога, как всякая власть. Театральная власть — ярче реальной, она разыгрывается *on line* и в единой трактовке, все, кто не покинул зал, ее признают, и значение ее не оспаривается историками. Царица на сцене — она абсолютнее абсолютной, ей не нужны никакие реалии, она завернется в рубище, встанет посередине, а даже если глазками забегаёт в испуге, то АВТОР выйдет и сам скажет грозно: «ЦАРИЦА!!!», ловко отведет от нее свет, а монологи уж загодя концептуально подсократит иль уберет вовсе, и зритель будет благоговейно коситься в ее угол.

Герцогские дома — антреприза.

Хороший наследник не волен в своих предпочтениях: многовековая история, войны, троны и падения — или глазки с коленками, или даже загадочная славянская душа, страсть, молчаливый холод тещи, ее старость, ее тайны — все это важное только для него самого, для тепла его гостиной и радости его спальни. Глава герцогского дома читает другой текст — там нет места юным Наташам, племянницам русской генеральши. Как вы говорите? Еще был и Пушкин? Удивительные нравы! И внучки

третьей Натальи, кажется, уже совершенно помешанной особы. Он — человек долга. Даты его правления будут записаны в те же книги, что и деяния, пусть более громкие и славные, его предков, но он по крайней мере не уронит своего долга. Ни-ка-ких выскочек!

Ну а чернь, цирковые зрители — они, конечно, более интересуются Золушками. Что им законная, бледная и длинноносая герцогиня, триста лет назад предназначенная наконец соединить два дома, — куда волнительней история площадной страсти, чего угодно — что даст возможность и над герцогскими предрассудками снисходительно и со знанием дела посмеяться, и для подрастающих дочурок короны с женой за чаем попримерять.

МАСКА: Москва стремилась вверх, да так, чтобы было видно. Куполами, колокольнями, дворцами. Петербургу некогда и не для кого каждому по отдельности выделяться, императору нужна была столица, ее — в два этажа каменной кладки — наложили на готовый план. На такой же плоский рельеф, под такое же плоское небо. Сверху и снизу покрасили серым. Где нашлось средств, добавили золотых шпилей, черных кованых решеток, Баженова затейничать не пустили, все делали по-заграничному. То, что было нарядным в Италии, веселило синьоров — призраком, как другая реальность, вставало из туманов, полное российских административных законов, чиновничьих будней, женских карьер. Кто хочешь становился фантастиком, поэтом. Не мог же Пушкин быть москвичом — только москвичом, как бы ни радовалось его сердце и дружелюбная душа всему московскому, он не был бы собой, каб не любил Москвы, — но холод и графика его несостоявшегося позднего творчества, вериг светских условностей,

которые навесил он на себя, покуда все не вызрело и не написалось, — не написалось никогда, его не боязни смерти — ах, почему он ее не побоялся, почему подумал, что не хватит сил жить! Все это могло быть только в Петербурге, крутиться, путать следы в огромном, плоском, темном и светящемся городе.

Друг Нащокин клеил кукольный дом. Зачем Людовик Баварский строил замки в натуральную величину — как это вульгарно: ведь не обошлось же без архитектора, проектировщика, подрядчика, перекрытий, растворов, стропил, поставщиков — где тут летать валькириям среди строительных лесов, да и потом — как себя среди них чувствовать, если так хорошо менеджерски потрудился, такой проект осилил! Собирал бы лучше, как сумасшедший губернатор, городок Петрополь, полный чудесных зданий и садов, с водой в каналах и с лодочками, еще — темная комната, без электричества, без свечей, свет тоже надо устроить какой-то не сразу понятный, льющийся как музыка — и там единственный человек — он, Пушкин. Летает, в крылатке, как с крыльями, где хочет, черненький, в черненьком, носатый, чистый француз, открывающий рот и изрекающий чистые, ясные мысли, будто не о нашей жизни, как ему в голову пришло: а если его за брюшко взять, отнести в другой макетик, приоткрыть крышечку усадебного домика — сарай сараем, однако ж с фризом, с крыльцом, с колонками, — как прост и ясен классицизм! Это и Пушкин знал — что его слово такой же расчищает гармонический простор, будь только слово его сказано. Сажаешь его в домик, в кресла, тарелочку с грушами перед ним, перо гусиное полухматей, свечу оплывшую: так какие стихи! Какие заметки! Какие просто письма! На скрижали!

**МАСКА:** Дантеса никто не будет жалеть.

Каждый, кто захочет рассмотреть его вблизи, понять — не дай бог, описать, — что это за маленький человек, как судьба пронесла его мимо знания, кого он убил, — ну, популярного писателя, известного даже, пожалуй, на первых местах в той стране, писал лирические стихи — ведь не эпические поэмы, не величественные драмы, не великие романы — помилуйте, мы здесь не дикари и прекрасно понимаем, что есть гении, украшатели всего рода человеческого, а есть и господа литераторы, уж в России круг поклонников, в такой большой стране, непременно возле любого легкого, остроумного поэта образуется.

Да и просто убил — если кто не знает, он офицер и требование чести столь же необсуждаемо, как приказ командира. Об убивших воинах — особые молитвы, с них спросится не так, как с девки, дитя по беспробудности заспавшей, или с купецкого сына, зарезавшего крестного за часть наследства, долг закрыть. Мало ли историй, газеты полны. Да, да. Они, гвардейцы, — солдаты, защитники нравственных устоев нации. Убить бесчестящего — показать толпе, хоть будет доходить до нее кругами, отдаленно, искаженно, чем ближе, тем понятнее, — какой бывает честь в ее самом рафинированном, беспримесном, эталонном виде. Гвардейцы обязаны это знать и каждую минуту своей служебной или партикулярной жизни это блюсти. Молитесь за Дантеса!

Но только как за солдата этой войны. Не лезьте к нему в душу, не описывайте как бы невзначай просто такого веселого парня, и дуэлянта, и волокиту, и отца — чтобы повергнуть громом своих читателей, открыв, что это-то и был диавол в виде барона Жоржа Геккерн-младшего. Чем ближе вы хотите рассмотреть Дантеса как человека, как творение Божье, не дальше, может, и других ушедшаго в своих пороках, — оборотитесь-ка — тем дальше от вашего зрения — вообще-то от вашего

интереса — будет Пушкин. И нечего тут притворяться. Дантес был спокоен всю жизнь, никто не докучал ему праздным любопытством — из того круга, где имели б право задавать ему вопросы. Каждый, кто знал его имя, знал, что это был реальный человек, знал, где тот проживает свою безбедную, яркую, по собственному вкусу устроенную жизнь.

Раннее вдовство, развязавшее руки и давшее свободу, долгие 50 лет рядом с Геккерном — они не были случайными любовниками, они были близкими, нашедшими друг друга людьми, полный дом оставленных Катишь детей — бедная девочка, она за свое такое номинальное, такое поверхностное замужество заплатила по всем счетам — Дантесу ставят в вину — кто бы имел право! — что он упорно взыскивал с московского шурина обещанное приданое, — так он не мог его не требовать: как сказать, что женился из трусости? Нет — женился, как все, и молодая особа из хорошей фамилии, с бумажными фабриками — все так, как полагается. Прекрасная политическая карьера во Франции, в России они не догадываются, что это такое, достаток, чудесный эльзасский климат, чудная его прекрасная Франция, родина.

Кто мог знать все это про Дантеса? Только те, которые могли претендовать на его знакомство. Такие были сдержанны, осторожны, боялись показать варварское негодование и плебейское любопытство. Русские богаты. Отлично устроенная Европа ими используется, как на заказ устроенная в имени купальня, с рестораном с французским поваром и балованным крепостником насыпанными пейзажными затеями, регулярными парками и променадами. Жорж не собирался избегать главных дорожек с громкоголосными генералами.

Напротив — он у себя тоже преуспел, и он не растерял своего нескончаемого обаяния. Он возбуждал

приезжих, к нему тянулись, с ним были сверхделикатны, он мог даже провоцировать — возраст, хотелось уже и поболтать, — но все проявляли ему положенный такт.

Кому интересен маленький человек — не должен смотреть в сторону Дантеса. В какой-то момент его непременно надо будет назвать по имени — и тогда его малость исчезнет, он станет той огромной силой, которая свернула — помните, ЗАКАТИЛОСЬ — нормальный, веселящий ход солнца. Не называйте его маленьким, прочитайте «Живой в помощи вышняго», не вспоминайте на ночь, не думайте, что он такой, как все.

МАСКА: Лев Толстой, титан мысли, писал сцену сватовства князя Курагина, Анатоля, к сестре Андрея Болконского, старой и духовно развитой девушке Марье. Марья смотрела на жениха — тот приехал будто бы мимоездом навестить их с отцом, — сам тоже с отцом, везомый отцом и полностью ему подчиненный — и в доме был семейный вечер, играли на фортепьянах, ужинали, вели разговоры деловые — старики о сватовстве — и светские — молодежь должна поддерживать видимость внешней непреднамеренности и естественности обычных контактов. Княжна Марья близорука, она волнуется. Она вообще-то даже не знает, на что надо смотреть, когда идут смотрины мужчины. Отец ей дал полную свободу. Она видит только «голову». Голова — это не лицо, это лоб — не завершающий рамку лица, освещающий светом большой гладкой поверхности глаза, не щека, обрамляющие породистый нос, не подбородок, поддерживающий говорящие милые, остроумные, чувствительные и умные речи губы.

Лоб жениха переходит в череп, поросший жесткими кудрями, теми, в которые она потом страстно вцепится всей рукой. Эти щеки — рядом с ушами, их свободно

висящими мочками, голыми, бледными, мягкими, похожими на кончик ее собственного языка. Подбородок — ну да, там губы, на губы, как бы невинны ни были его речи, — она все-таки понимает, что нельзя смотреть, по крайней мере долго, по крайней мере так, что это было бы всем заметно. Там — все то, что еще серьезнее губ. Там — шея! Настоящая мужская шея с волосами и следами выбритых волосков, ходящий кадык, которого совсем нет у нее, — у него есть то, чего нет у нее и он может это ей дать, она будет этим распоряжаться, это будет ее полное право, она просто еще не знает, что она сделает с этим кадыком, — и поразительно, он не будет поднимать брови, как отец, когда она хочет, — это все разное, конечно, но все равно к отцу — это тоже любовь, но он не хочет проявления этой любви, только слов, всего лишь слов, она понимает, что они никогда не будут с ним одно, — и она любит его самой жгучей общечеловеческой любовью, отец — совершенно отдельный от нее человек, а вот с этим она будет — В ЕДИНУ ПЛОТЬ. Можно ли в это поверить, когда она играет ему на фортепьянах и видит его ГОЛОВУ?

Даже речи не может быть о том, чтобы она знала, что ЗА шеей, ниже, у него есть там плечи, грудь. Вы еще скажите — живот... Вы, конечно, не скажете ничего еще более отдаленного, — не уверена, что вы сами про это знаете, — но вот у нее все так может повернуться, что она, она, Марья скоро будет знать ВСЕ.

Она никогда не выпустит из рук этого жениха.

Всем известный портрет Дантеса кисти родственника Гончаровых графа Ксавье де Местра — разве это не портрет Анатоля Курагина? Разве кто-то в России представлял его по-другому? Этот Анатолий, хотящий погубить княжну Марью и погубивший Наташу Ростову, — разве это не связанный с двумя сестрами Натальей и Катериной Николаевными барон Жорж-

Шарль? Наталью он хотел осчастливить счастьем минутного, но страстного наслаждения — высшей награды минуты, — а разве есть в жизни что-то другое, более важное или более высокое? — потому что, как мог, полюбил.

На Катишь велели жениться.

Голова Дантеса представлялась ей не только за фортепьянами. Анатолю Курагину недосуг было заботиться об истинной невинности Марьи Николаевны, Дантесу были б смешны такие иллюзии. Катишь, вероятно, изо всех сил держалась до венца — что-то ж и она должна была принести, пусть формально, не все ж из Дмитрия кровь пить, из разоренного бестолкового имения, не все ж Наташе красоту мерить: довольно или нет для домашнего придворного зала, не все ж Пушкину гордиться: я, мол, талантами своими могу претендовать на звание государственного мужа, заслуги мои стоят и чина, и ордена. Ис-то-ри-о-граф! Вот и получишь диплом историографа. Тетка Загряжская Наташе не жалела нарядов и бриллиантов — такие случаются старые девы, когда украшают уже чужое тело, как украшали бы свое, — это ж тоже отдельно от души: я ли — мое тело? Мое ли это — что у меня в ушах? Теряю я подвеску на своей груди — не так ли на Наташиной поправляю? Модистки, кутюрье — они ведь так же, изо всех сил, со всем тщеславием и безревностью украшают чужие тела. И чуждые — кутюрье с холодностью, со многими знаниями просчитывает чуждую женскую красоту, это — высокое искусство, сердце его, жизнь его — у других. Екатерине Ивановне безразлична прелесть Наташи. Старухи, двор, небедные старички, собственная даже горничная — вот была ее публика, вот перед кем она хотела блистать. Все это все равно было Катиным приданым. Сама она — фортепьяно, рисунки, гончаровские мелкие, определенные, редко гармоничные — Наташе повезло

— черты. Жизнь с замужней сестрою, непрерывно рожавшею, с мужем, всегда видящим брюхатую жену, вовлеченным в ее усилия по скорому восстановлению от родов, его ум, который соединял в единое его мужские разочарования с рожаящей Натальей и их общие божественные отличия, которыми награждал их Господь при каждом новом рождении. Александр сбегал каждый раз из дому, как супруге разрешаться, — где-то закрывался, где-то в себе донашивал это событие. Такие девицы — Катя и — девицей была и Александрина, других званий у них не было — к мужу поступают, зная о семейной жизни все. Голову Анатоля Курагина они рассмотрели бы со всем тщанием — какое везение! Наш муж — не в пример краше щупленького, как обезьянка, с обезьянской черненькой головой прекрасного сказочника из детства! Дальше бы смотрели с жадностью — забылась и КРОТКАЯ княжна Марья, зажмурилась, отвела глаза, решила: сейчас или никогда решалась ее судьба — старые возбужденные девушки Гончаровы были осведомленнее, знали, что получают, в деталях, не становились циничными, чтобы не расплескать того, что шло в руки и с большим удовольствием используется, если — по невинности. Анатолий Курагин любил *petites filles*, Катрин — это было единственное, в чем ей повезло, — тоже бы хотела, чтобы Дантес позволил ей быть некоторое время невинной, сколь мало они бы с ним ни вкладывали в это слово. Решал, с одной стороны, конечно, он — но ведь она знала, что за ее свадьбой что-то стоит. Наверное, какие-то собственные, непостижимые — было ясно, что им всем троим нечего было и пытаться постигнуть Пушкина, уж она бы точно сломала себе голову, пытаюсь проследить за логикой не только его противоречивых, но как-то объясняемых поступков, — но внутренним, совершенно внечеловеческим ходом душевных движений и резонансов.

Раз решала в этом свадебном деле не она, она начинала принимать ничего не значащие решения. Она все организовала так — и в общем-то супруг остался не внакладе.

Она понесла сразу. Пушкин бы оставил ее брюхатой вдовой.

Еще неизвестно, по какому Пушкину Россия плакала бы больше.

МАСКА: Пушкин создавал свой media-проект. СОБИРАЛ журнал, предполагал влиять на умы и на чувства, давать информацию и капитализировать свой гений. Стал бы государственным мужем, властителем дум — с командой, здесь даже Пушкину в одиночку все было бы не под силу. Он не стал бы Наполеоном, а при ненаполеоническом строе одного человека мало. Возможно, это было бы громкое поприще. Смогли бы мы выделять из этой плодovитой, сильной, осуществившейся жизни то, что сделал этот же самый Пушкин всего лишь до 1837 года? Оценить как-то отдельно от всего — журнала, политического влияния, реальной карьеры и просто жизненного успеха — ту легкость, светлость, многогранность, беспрекословную учительскую простоту, библейское всеведение, невыделение ничего из доступного его культуре, непривязанность — и близость, теплоту, важные для каждого и каждого.

Потерялся бы такой, ранний, Пушкин? Уж наверное бы потерялся.

МАСКА: Натальями полна английская ветвь пушкинских потомков, праправнучками и так далее Натальи Александровны Меренберг, морганатической супруги и матери морганатической супруги. Целый век еще потребуеться, чтобы неравнородность Пушкиных

выровнялась: очередная Натали — уже крестная мать наследного принца Уильяма, готового на наш век.

Натали — в Париже — праправнучка и Дантеса. Все это им тоже нравится, они тоже пишут статьи. Несчастный рок Пушкина — несчастный рок Дантеса. Когда-то Пушкин вызвал их злое раздражение, они не хотели попадать ни в историю, ни в истории, у них были более серьезные планы. Планы удалась, Геккерны стали французским политическим истеблишментом, простили Пушкина, даже чуть-чуть стали щеголять и подсмеиваться над приключениями молодости, потом наступило какое-то совестливое поколение, дочка, в совершенстве выучившая русский язык, сошла с ума, потом дела никому никакого не стало, потом род разорился, и мелкая разночинная поденка — журналистика, то да се — родила и французских журналистов с громкими именами Дантеса и Геккерна.

МАСКА: Романы, реальные судьбы, биографии — Катина жизнь достойна, конечно, любой книги — о нелюбимой жене, о разлученной сестре, о горькой изгнаннице, — каждая состоит только из того, о чем думала Катя, когда глядела себе в тарелку у себя за столом. Получилось удачно — со времен счастливой зимы 1837 года за любым столом, где усаживалась она иметь свой хлеб, она всегда была главной дамой. Père, батюшка, старик Геккерн, удобно с нею устроился. В его звании посланника неплохо иметь в доме посланницу — но это была бы жертва с его стороны, неприятные хлопоты, столько обязательств, объяснений, условий, так трудно иметь дело с женщиной, даже прямо объявив ей о формальности заключаемого брака, о невозможности для него отношений с женщиной, — и он знал, что самая неромантичная и трезвая из них все равно рано или поздно нарушила бы договор. Хлопоты, хлопоты.

Невестка же, прелестная милая невестка, строгая и разумная, жена обожаемого сына, укомплектовывала его семью всеми необходимыми для полнейшего признания дома атрибутами. Катишь всегда разливала чай и руководила обедом. Ей некогда было поставить глаза в тарелку и мучительно рассуждать: поднимать от нее глаз или нет. Всегда сложный церемониал самого маленького ужина — и она не посмотрит вверх, не перехватит взглядов, не оглядится вокруг себя: господи, что ты здесь делаешь? Она — всегда мать: у нее получилось как у Таши — четверо детей за шесть лет брака, жизнь ее, правда, была гораздо плотнее заполнена мужем, она не могла и понять, где нашла бы время БЛИСТАТЬ, обустраивать сестер, заниматься ТЕМИ денежными делами. Денежных дел было много и у Кати — Жорж смотрел на нее вопросительно, она писала вежливо-требовательные письма брату: безденежье не безденежье, их, Гончаровых, обещания жениху — это долг чести, на их сестре женились не из жалости, каждый должен принести свое, им негоже становиться мошенниками. Денег своих для себя не было, расчетов было очень много — но в доме и близко не было пушкинской нужды. Катя жила в скупом богатом доме.

Взгляд в тарелку — это то, чего надо было избегать. У нее были возможности остановить взгляд на чем-то еще, хоть и закрыть их, — но это было тогда, когда она оставалась одна. Она могла думать о чем хотела, анализировать свою жизнь как угодно, но при этом всегда в другой комнате, или в ста верстах, или еще где-то, но не рядом с ней был Жорж. А если она его не видела, она могла думать только о нем. Странно, она была бы более свободной, если б он на ней не женился, — собственно, так вопрос никогда не стоял, ни при каком раскладе, кроме осуществившегося, ему бы в голову не могло прийти жениться на Катишь. И у нее

был бы традиционный выбор старой барышни: или признаваться всем и каждому, подыгрывать всеобщему знанию о ней, что она — это та, у кого сердце разбито, или жестко и сухо, — она знает, что это совсем нетрудно, это делают и не с такими любвями, не со столь поверхностными, ослепительными, безвыходными — забыть его. Иногда Катя представляла себе: вот, он забыт и все, его нет, — в чем-то становилось легче, она могла бы смотреть в пустые тарелки — они отражали бы ту же пустоту, но поднимать глаза было бы не страшно.

ЕКАТЕРИНА: Смешно думать, что я могла бы ревновать к Таше. Этим утешались петербургские завистницы. Каждая мечтала о своем куске счастья, обложенном каменными стенами, с лестницами, фонарями и гобеленами. Ходить приходилось родительскими залами, тетушкиными комнатами и детскими, полными чужих детей. Мне достался самый лощеный кусок: посольский особняк, блестящий свекор, благоуханный муж, большие окна, полные света, — из пролетающих колясок к ним поднимались кривящиеся от зависти лица: здесь ли шуршит платьями Катенька, уже старая девушка, уже с помягчевшим личиком, без детской упругости щечек шестнадцатилетних невест, не испытавшая ничьей любви, сама полюбившая Дантеса только потому, что он мелькал больше всех — подле ее сестры? У этой Катеньки эту зиму самые элегантные приемы в Петербурге. Пусть хоть что-то, что угодно, но сократит ей сезон. Нам подходит любое событие, любой траур, мы живем этим и здесь, мы не хотим видеть нашей законодательницей Катю. Ах да, наверное, бедняжка понимает, что ее муж смотрится в ее лицо, как в мутное стекло, — авось, отразится натренированное королевствованием лицо Натали. Занятное соображение: получить в мужья того, кого

хотела — только потому, что он влюблен в другую. И ты, законная, умираешь от ревности к его безнадежной, неосуществимой любви. Что ж, это неплохая кара.

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА: Ревность к Кате. Считать деньги в чужом кармане, считать чужие победы в сердцах. Я — жена Пушкина, мне будут завидовать только через сто лет, сегодня мой возлюбленный — как мне назвать его иначе? — сделал предложение моей сестре. Никто не усмехнулся, мне позавидовали еще больше — ведь он женится, чтобы Пушкин меня не терзал, он любит меня настолько, что не сомневается в моих смехотворных, как на нынешний век, представлениях о супружеском долге — право, я живу на несколько веков вспять, я была бы побита камнями в своей гостиной, но я тверда была и сама, я до карикатуры похожа на онегинскую Татьяну — у той не было такого успеха, как у меня, она не была взвинчена этим постоянным светским соревнованием — Александр нарисовал нам ее всегда замкнутой, флегматичной, всегда с тайной, не выдаваемой никому. Пишущей письма, но не стреляющей глазками. Чернильная девочка. Она не заводила сама себя, скача на лошади на дачах неподалеку от казарм, мои чувства не были бумажными, я все эти годы столько работала физически. Все проживала своим телом — пять беременностей и четверо родов, когда спина лошади слита с твоими плотно сжатыми ногами, когда тебя простреливает до носков от напряжения, когда еще полный живот — уже без ребенка, но полный этих не улегшихся складок и закровов — туго затянут, тебе гораздо труднее дышать, чем скачущим рядом сестрам, — но низ живота уже так же пуст, легкий, как и у них, то же солнце, тот же ветер, тот же морской вымоченный воздух острова... Ах. Татьяна видела одного Онегина — он ведь только один не хотел ни с

кем знакомиться из деревенских соседей? — я видела разных гордецов, я видела царя, Жоржа я выбирала долго. Но был все тот же литературный долг. Женщина — сосуд греха. Самая добродетельная жена грешна уж тем, что знает два закона, и тот, который ей преподал муж, перечеркивает Божий, и она никогда не оправдается. Я что-то нарушила, понравившись Дантесу, но мой долг был сильнее меня. Другое дело, что эта непреступаемость лежащей меж нами преграды давала нам сладость совершающегося — ведь это было, это возникло и долго продолжалось — греха, сладость совершенно особую, непохожую на наслаждения каких бы то ни было утонченнейших утех. Утонченность стремится к чему? К несуществованию. Между нами ничего не было, не могло быть — от этого мы наслаждались друг другом еще больше. Жорж воистину был сладострастием — он захотел поставить меж нами еще и Катю, что б не только я не могла загородиться от него Пушкиным и Катей, но и Катю же он. Наверное, и мужская неприступность придает бесконечности несуществующего еще что-то.

В общем, оставалось только иметь время.

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА: Живя в свете, избежать этого невозможно. Пушкин ловил на меня живцом, для чего еще можно разыгрывать в свете карту жены? Провокация, искушение. Враг рода человеческого называется Искуситель. Он не сделал ничего более страшного — он не убил, не изнасиловал, не ограбил, не обманул. Он не обманом дал праматери яблоко, не силой, он не одолел ее мужа. Он всего лишь искусил ее, он дал ей соблазн. Пушкин не застрелил Дантеса, овдовил меня и осиротил детей — и сделал грех, равный дьявольскому. Искушение — праоснова греха. Только после него стали убивать и обманывать. До этого были чисты как дети. Всего-то покушали яблочко,

попробовали — может, только и надкусили, не объелись же яблок — и лежали. И я — что я сделала? Изменила ли мужу, опозорила ль его имя, предала ль детей? Ну посмотрела, послушала — а какие картины нам рисуют художники: Ева прекрасная, как день, невинна, как младенец голенький в ванночке, лукавый рядом стоит — она и смотрит, слушает. Женясь, Пушкин не сказал — вот моя жена, моя Ева, нам никто не нужен, нам будет рай там, где мы двое. Ничего подобного! Он захотел со мною — где двое, там лукавый промеж нас, — сделать подобие света, общества. До сих пор он был один — друзья не были с ним неразрывны, как жена — со мной он выходил в свет силой, армией. Ведь не закрылись в деревне. Он не достал своих черновиков и не стал плакать и работать над ними — нет, он снял дачу в Царском, мы стали гулять по дорожкам — авось, встретит нас царь. Ревнивее всего он относился к моей красоте, к моим нарядам — будет ли трофеем в цену затраченного? Все писали и писали, говорили и говорила все о моих успехах да о том, какая блестящая будущность нас ждет. Блистать в свете и быть отрешенной от него невозможно. Показал мне его прелесть, соблазнил, искусил — Пушкин. Какой шум, какой взрыв негодования, как дали ему придворное звание: Наталья Николаевна будет танцевать в Аничковом дворце! Разве не для того он селил ее на Каменном острове, в доме Баташова, на Дворцовой набережной? Ни одной зимы в деревне, ни одного лета на воле! Жена мужу угождает. Я не только добросовестно веселилась, но и пересказывала ему то, что он не видел. Я рассказала ему, как Идалия пригласила к себе в гости, как и что нашептывал господин Геккерн — он и не шептал, но кто будет по-другому пересказывать, когда того поставили по другую сторону барьера. Он был труслив, боязлив, смертельные дуэли представлялись ему чем-то

ужасным — маленькими, с минимальной численностью армий войнами. Ему бы понравилось, если б Жорж подрался на каких-то более спортивных условиях... Но я здесь — я не была после Пушкина невинна, — но была невиновна, я делала все, что приказывал он. Нравилось ли мне? У жены мало свобод. В публичном доме девки сидят и пастилу и конфеты едят, пьют сладкое вино. Понравилось бы и вам. Я очень веселилась.

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА: Пока мы были счастливы — не вместе, — мы могли придумывать разные теории нашего чувства и предполагать его развитие любым, на какое хватало энтузиазма минуты, образом. Мы вовсе не должны были напускать на себя философский вид и говорить, что скоро все утечет. Было ясно и без того, что любой шаг, любое движение в наших личных, разрозненных жизнях неминуемо поведет нас друг от друга. Это единственное, в чем мы могли упрекнуть один другого, — ведь кто-то будет первым. Это охлаждало, как совершившаяся измена. Он придумал Катю. Поразительно, как желание сентиментальной сказки сильнее даже такого легкого и полезного для здоровья занятия — злословия. Никому даже в голову не пришел истинный мотив женитьбы, и все видели подвиг высокого самоотвержения во славу любимой женщины. Наверное, потребовало бы слишком сильной перетряски подозрение Жоржа в трусости или даже просто в слишком разветвленной интриге — но надо мной никто не посмеялся. Ахнули и посчитали меня Клеопатрой. Мне слишком жалко было расставаться со своей игрушкой, все было так сладко и бесконечно, он подтверждал, что новое положение придаст нашему остроту, и все, принимаемое Пушкиным слишком серьезно, покатилося вместе с зимой дальше.

Но какие бы четкие правила ни были в игре, как строго бы их ни выполняли — если над площадкой

пойдет дождь, все игроки уйдут в укрытие. Если наездник на скачках погибнет, лошади не дадут приз. Жорж сделал настоящее предложение Кате, и она стала невестой. Она венчалась и стала женой. Наши игры в возросшую утонченность чувств просто остановились перед фактом, что нелюбимая, игрушечная жена Катя становится отныне ему самым главным, самым близким человеком, он будет ответственен за каждое ее слово и каждый день ее жизни, и ее слово будет главным о нем. Он может говорить любые слова о том, что он жизнь отдаст за меня, — мы будем чувствовать скороговорку, и что он совершил подвиг, — но Лия большая жена, чем Рахиль, главнейшая, она старшая и слово это почитается родом. Когда наступили трудные времена, началась война и Иаков должен был спасти свой народ и сделать мужской поступок, он стал вывозить свое племя из опасного места. Он посадил на волов ЖЕН СВОИХ И ДЕТЕЙ СВОИХ. Он не делал меж ними разницы, он не схватил Рахиль и не побежал, он не подумал о Лие вместе с НАРОДОМ, он подумал о ЖЕНАХ. У Рахили была его любовь, вроде самое главное, что есть, — у нее не оказалось ничего — как на весах, на которых пытаются измерить вес души по оставлению тела. Любви не было у нее в руках, а Лие не о чем было скорбеть. Рахиль не хотела наказать ее или унижить, но хотелось знать, что же есть у нее из ее, пусть невещественного, имущества. Ничего.

Что оставалось мне с моими летними фантазиями и танцами — рука в руку, плечо к плечу, наклон всем телом, гибкое, сильное движение талии другого у талии твоей, как в брачном танце акул? «Не марай себе воображения, женка», — предупреждал меня Пушкин о книгах из дедушкиной библиотеки.

Раз Пушкин мне все позволял, это было даже подспорьем, веселилась, искала встреч и приглашений

не натужно — гонимая кровью. Когда ситуация очертилась таким образом, эта самая кровь отхлынула, ушла от лица, от головы, от рук, от колен — куда-то вся ушла. Стало холодно, скучно, неприятно, и его жаркие взгляды — было видно, что он играет уже по правилам, не от влюбленности, — были неприятны и даже болезненны, как новые настойчивые ласки сразу ПОСЛЕ. Было так, будто он хотел завести сначала меня, а потом уже подзагореться сам, — сразу остыть под дулом пистолета казалось ему постыдным. Что ж, и его карта была бита, но то, что он хотел все-таки попробовать использовать меня еще раз, — это было горьким обманом.

Дни, когда я Рахилью ревновала к Кате, казались мне уже пожаром. В январе мне было зябко и одиноко. Пушкин бегал, как раззадоренный хозяин, стращал поджигателя. Свое добро он не обещался никому-у!!! Ужо задам!

Был дом виноватых.

Такие вещи нельзя придумать — мы были с Пушкиным раздавлены оба. А этого ни одна семья не может вынести. Один регенерирует другого — когда в обоих сосудах мертвая вода, жизни взяться неоткуда.

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА: Мы хотели все решить сами, всех судить, всем присудить — и было ясно, что наказать здесь никому никого не удастся, ведь не здесь же суды назначены.

Только Пушкин бы мог, ему больше дано, я бы точно ему покорилась, только он мог рассудить по-божески. Только его бы не осудили, если б он одумался, повинился, уехал бы, — я была растерзана, больна, я приняла бы, даже если б он отправил меня в монастырь: на конец зимы, на весну, мы не могли быть вместе, нам надо было молиться день и ночь, ему — покаяться в гордости суждения, мне — с его отпуска поучиться

единому закону. Потом — соединиться заново. Пушкина всякий бы простил, кто бы стал смеяться, что он на гвардейского поручика — крестом и молитвой? Попритихли бы.

Что славы — Пушкин? Что гимназисты читают, перевирая? Что девы переписывают в альбомы? Наша маменька — и та кривилась, за стихотворца отдавать! Ему место было уготовано — главного в России, за ним и оставили, но он не потянул, погубил семью, погубил себя: все гадают, не искал ли? Не самоубийцей ли был? Вот тебе и наше все...

Почему не принял подвига настоящего?

То-то было б учение! Серафим Саровский, отче, прославился на всю Россию, а Пушкину-то легче было бы до сердец достучаться, его ресурс куда заметнее, влияние безоговорочнее, на виду, веди народ действительно куда хочешь...

А то говорят: журнал, поприще, большая форма — что эти мелочи по сравнению с тем, что он мог стать Учителем? С пистолетом стоять, наверное, проще, не так страшно.

Я, Наташа, сужу строже всех, ученых и умных, — так ведь я одна была ему половиной. Что я пойму, то ему зачтется. Раз я каюсь за него заочно — значит, раскается и он там. Да и сужу — то ли слово?

Не хотелось бы самой со святостью зачинствовать — мне б за мужем... Повести бы ему меня — я б не отступилась, просто потому, что не умею бунтовать. Я бы даже не испугалась, не подорожила бы и светом — что в нем, такими трудами! Неужели и за это с меня спросят, что Пушкина не научила?

В ноги-то ведь не бросалась, только тогда в комнате при всех закричала: «Пушкин, не умирай!» — а не оценила всего сама... Хуже того — в монастырь не

пошла и после, старалась только забыть. Насколько забывается — настолько и легче.

Ездила в Бродяны навещать Азю — говорили только о сегодняшнем, видела портрет Жоржа — он же Густаву родня, — не всколыхнулось. Кажется, даже Кате что-то написала, родственное. Ланских детей как совсем непричастных к пушкинству воспитала. Они уж и раздражаются на него, и недовольствуют. Девочка, Аня, и все выпрашивает про него, и все критикует. Других-то раздражаю я — тем, что жива, Аню — Пушкин тем, что жил. Вот и получил. Конечно, и Спасителя было кому бичевать — так если б Пушкин себя в настоящую, великую жертву принес, его бичевательница и не родилась бы. Какой-то бесконечный, Пушкиным запущенный круг — я, мать, должна желать, чтоб моя дочь не родилась — для всеобщего блага и поучения.

Я так не желаю. Я этого не разбираю. Это не мое было дело.

**НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА:** Бывают женщины, гениальные своей женскостью, как мужчины — своим человеческим талантом. Такие и сами помнят, как любили, и о них всегда знают, что они были любимы. Из меня Пушкин вышел, как талая вода с полей, — и не видно, и ни следа. Была вдовой семь лет, искала места, писала письма — все шутила. Когда умирала — полна Россия была гениев, продолжателей Пушкина, вышедших из него и без него бы не бывших. Никто из них меня не вспомнил, ни один студент не застрелился, не витало в России: жива, еще жива Натали!.. ну, или как-нибудь еще, Пушкина-то жена — это всеобщее достояние, в интимности со мной будут долго еще соревноваться. Будут благодарны, что Пушкин для себя выбирал такую безликую, никакую, отвлеченно-прекрасную, безмолвную. При такой только пой сам! Ну не подарок ли!

На других возлюбленных смотрят, на них даже женятся — другие литераторы, чтобы дышать тем же воздухом, что и их кумир. Разве Чаадаев написал мне хоть одно письмо? Раевский? Я не была интересна даже им, ближайшим друзьям. Интерес Вяземского — ужасен. Будто бы даже пожалеть меня хотел своим волокитством и этой же жалостью оправдывал несчастную привычку. Переписывались как почтмейстерша с фельдшером. «Если твой простой и аристократический тон изменится, вот те Христос, разведусь и уйду в солдаты». Хорошо, что ты этого не знаешь. Но видишь, какой я была, раз такой стала? Вяземского — «подобно бесстыжей старухе» — ты не стал бы вызывать на дуэль, Вяземский при тебе не допустил бы себя до такого — зачем он позволял это мне наедине, без Пушкина? Неужели длинное правильное личико и мягкий стан — этого было достаточно, чтобы замарать свое место в памяти о Пушкине?

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА: Жорж — не мог щадить он нашей славы, я ему поверила сразу и печаль о Кате — как она пренебрегла и моим именем, и моей красотой, и даже небольшой против ее молодостью, — все это было только моей, не всеобщей, не всероссийской печалью. Никогда нас не видевшие художники будут рисовать картины, жанры — холодные карикатуры светских персонажей, затравленный Пушкин, холодная и прекрасная я. Разве кто поверит, что в моем сердце, как в зеркале, одна картина — ЖЕНА, его жена, Катя. Разбуди его ночью, пусть он весь вечер был хмур с домашними, вспоминал меня — у них тоже в Сульце снег, такой же запущенный парк, мокрые камни мостовой, я бледная в окне, незагорелая, всю весну дома, кровотечения, молоко, во мне все было вертикально, ничто не округлялось, каким бы счастьем

было считать это все своим, оберегать, поддерживать — а ночью встал, его спросили, кто его жена, — и он это знает, как ни повернись его жизнь уже — он будет знать, кому он дал носить свое имя.

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА: Это никогда не будет моим. Он уже никогда этого мне не подарит.

Он тоже рано овдовел. Был год, когда мы оба были свободны. Не желали б под венец? Уехав, например, в Америку? Он занялся бы политикой и там, раз чувствовал призвание? Или, раз он боек, обаятелен, беспринципен и решителен, занялся бы каким-нибудь business? Я представляю его, барона, красавца, богача, даже там — поехал ли бы с нами Геккерн? Такой лис, такое поприще! Наверное, поехал бы и он и тоже не остался б не у дел. «Старик» ведь был очень молод! И вот они в аристократических гостиных Нью-Йорка или, скорее, как французы Нового Орлеана. Свеженькие дебютантки и их маменьки с изумлением взирают на меня, ровесницу, многодетную мать.

От нас пошли бы дети, юные герои Гражданской войны. Геккерн занимал бы важное место в верховных, дипломатических или иных кругах, Дантес — он офицер, он стал бы служить и был бы видным командующим. Наши дети, родившиеся в Америке, с такой семьей могли бы иметь самую блестящую будущность. Кажется, самый главный там — президент. Мне пришлось бы вести себя строже, холоднее, замкнутее, чем требуют самые строгие правила. Их скромные американские представления о старой аристократии были бы признаны слишком вульгарными перед новым ригоризмом. Я была бы неприступна, как королева. Только когда стала бы уже совсем, совсем стара, появился бы какой-то университетский профессор или, если б дети пошли в гору, журналист, кто раскопал бы всю историю, списался бы с

европейцами, перевел бы всего Пушкина... Я не умерла бы так рано. Я ела бы много сливочного масла, говядины, овощей, кукурузных лепешек, никаких соленьев, грибов, гусиных перетомленных печенок и шестичасовых супов с гренками, шампанского — только все простое, свежее, много свежего воздуха, сухой жаркий климат, отдых на океане, много верховой езды, плавания. Американцев не удалось бы убедить в привлекательности интересной болезненности — я была бы одной из пионерок нового, на век вперед, идеала красоты: рослой, спортивной, с чистым лицом и зубами, мягкими волосами. Про плечи мои бы писали, что они не как пальмовые ветви, а как у университетской чемпионки, пловчихи. Когда началась Гражданская война, мне было всего сорок девять лет.

НАША семья вся сплотилась — мы женаты с зимы 1844 года, безо всякого траура по Кате — время, которое нам понадобилось, — только узнать, снести, свидеться, обвенчаться и уехать. У нас были бы самые высокие поручители при бракосочетании. Нам ничто не препятствовало бы. Гражданская война дала нам шанс сделать действительно великую карьеру, карьеру семьи, заложить royal family Америки, которая могла быть крепче Наполеоновой. У Наполеона была та слабость, что все началось с него, сразу с Наполеона. Он начал и завершил величие семьи. Собственно, только его одного личное величие — просто он по итальянской престолярной семейственности не мог удержаться, чтобы не возвысить сестер и братьев. Ему это вовсе было не нужно политически — неродственные выдвиженцы благодарили б его с еще большим рвением: «мои братья выказывают мне недовольство выделенным так, будто бы это наш отец, король, оставил мне это королевство». Геккерны бы начали ни с кого-то одного, они начали бы завоевание Америки широким семейным фронтом.

Я стала еще красивее и выполняла все обязанности первой леди. При всей моей никчемности — я для чего-то была уже один раз выбрана, значит, могла и пригодиться во второй. Все ли исторические личности очень значительны сами по себе, а не случаем, который один их и сделал?

Нашему старшему сыну в начале войны было б 16, в конце — 20. Наш американский Орленок.

На то мы и Геккерны, на то мы и тонкие французские дипломаты, политику мы считаем такой же позитивистской деятельностью, как всякую другую, — мы переметнулись на сторону Севера, к янки, мы хотели быть победителями.

Южане были бы поражены таким предательством и вероломством. Они бешено бы судили победителей. Было найдено объяснение, они все-таки раскопали тайну семейства: миссис Геккерн была первым браком замужем за ниггером. Ее оставленные в России дети — черные. Геккерны сначала игнорировали, будто отрицая, потом признали — и это стало их новым настоящим прорывом, знаменем северной пропаганды.

...А мои дети, Пушкины? Мне бы их никто не отдал.

Я подумаю об этом завтра.

**БАРОН ЖОЗЕФ-КОНРАД Д'АНТЕС:** Отцовская ревность. Не сразу и поймешь, откуда взять образец, в какой книге, в каких сказках и мифах изобразили б ревнующего отца? Всегда он будет просто завистником — неблагодарным, не оценившим будто бы законный дар отцовства. Ревновать будет к сыновьим успехам — только и всего. При мне живом барон Геккерн попросил сыновьнего имени для моего Жоржа — и получил его от меня, с благодарностью. Было пышное письмо, был полный достоинства ответ. Жорж получил то, что не мог бы дать я, у меня отнялось то, что не могло бы быть отнято и моей или его смертью. Зависть — болезнь

дружбы, ревность — болезнь любви. Так сказал какой-то русский философ. До чего додумались русские! Какие-то древнеримские забавы, все императоры игнорируют родных детей, сожительствуя с мужчинами, таковых не имеют, все престолонаследники — усыновленные. Какой только законный сын не был приемным! Казалось бы, наигрались. Вот — в России, на виду, в доме голландского посланника тоже мужчина сорока четырех лет усыновляет офицера.

Проблема отца, узнающего, что сын предпочитает мужчин, легко представима. «Мужчин» — это, может, и не страшно, это может быть его частным и глубоко физиологическим делом. Какие-то совершенно неприемлемые для меня лично предпочтения могут быть и у моего сына, живущего с женою. Когда у сына появляется мужчина, один, избранник, тогда в моих обычных горестях отца, открывшего мужеложство сына, — отсутствие наследников, общественное осуждение, собственная неприязнь и пр. — появляется ревность. Если тот, к кому ушли из твоего дома — дочь, жена, из рук — хористка, просто знакомая дама, — мужчина, значит, он твой соперник. Мог взять твою жену — и возьмет, взял еще и сына. Взял все. Твой соперник всемогущ, ему подвластно все, он гораздо сильнее тебя. Ревность — это не тоска по тому, что отнимается, а страшное, как преисподняя, поругание тебя самого чем-то лучшим, сильнейшим. В каждой боли есть что-то очищающее, делающее нас сильнее. Ревность — единственное, что черно кромешно. Выйдя из ревности, ты не станешь сильнее, ты будешь изворотливее и хитрее и будешь знать, чего надо будет избегать всегда. Ты не вождеделел к сыну, но отдал его тому, кто хочет того же, что и ты. Такие соперники никогда не примирятся. Двое мужчин, ссорившиеся из-за женщины, могут разлюбить ее оба или по одному и

радостно пожать друг другу руки. Сына я не разлюблю никогда, но что будет то, что встало между нами?

И мужчина моего сына не просто взял его, он пожелал называться отцом. Тот случай, которым Господь награждает тебя, дав удачного сына (тем и бесценный, что не может быть вымолен, выслужен, приобретен), был в величественном письме — но на бумаге! но чернилами! но человеческой рукой! — вытребован просто случайным господином, знакомцем с парохода. При всей моей готовности я знал, что совершается что-то, нарушающее законы бытия.

Что такое жена? Только слово. Ты можешь не знать другой женщины, вести самый добропорядочный образ жизни, завещать состояние, иметь детей — но если ты не мог или не хотел НАЗВАТЬ ее женой — она не будет твоею женою, ни пред Богом, ни пред людьми. Сына тоже мало родить, его надо назвать. Я дал назвать другому.

ЧААДАЕВ, удачливый диссидент: Мое положение непоколебимо, мое имя славно. Я — славный Чедаев, Петр Чаадаев, я — словно бы не жил. Передо мной резвился Пушкин, он был полон жизни, биографии, я написал одну книгу и прожил почетным затворником в развалюхе на Басманной — философом, денди, членом английского клуба, ничего не делающим и не совершающим поступков господином, — половину не слишком короткой жизни. Толстой создал похожего на меня героя, Андрея Болконского, и дал ему Наташу Ростову, наполнил его жизнью. Я сделал все — был героем, участником Бородина, был знатным красавцем, был учителем Пушкина, автором знаменитых трактатов, был карьерным военным, отпускал крепостных на волю — провлачил свои дни бесплодно, теща только своего слугу. Толстой был гением. Он мог сделать более жизненным то, что не жило — по сравнению с жившим.

Он не мог не знать обо мне — такой изысканный персонаж, такое уважительное имя, — дай-ка я дам ему жизнь, страдания, награду. Получился самый притягательный образ русской литературы — Андрей Болконский. Я никогда таким не был. Я — адресат, прототип, катализатор идей. А Пушкин — живее всех живых, его будут знать чуть ли не на ощупь. Моя фамилия — редкая, она совсем исчезнет, а пушкинская — расплодится. Будут и по всему миру потомки, и просто так, россыпью, не имеющие отношения, однофамильцы, но все равно радостно вставляемые в русскую речь. Веселое имя! Страшнее меня — чудака, одиночки, сумасшедшего, отвергателя России, закончившего свою жизнь. Я дотянул чинно, размеренно, он — не захотел себе честного конца. Это над ним надо было устанавливать опеку, когда он так начал чудить и было ясно, что не остановится. У меня были все возможности для того, чтобы иметь такую жизнь, к которой — полной почестей и успехов — стремился Пушкин. Житейский ум наш был равен — я отвергнул этот путь, уединился сам с собой. Почему он не захотел остаться наедине со своим гением? Потрудиться? Почему стал раскидывать все вокруг себя как ненужное, опостылевшее, уже ни о чем не хотел разговаривать, ничему путей не предначертывать, направлений не задавать. Все, ухожу, ухожу! И такой слабак, неврастеник останется в веках непревзойденным! Я поклонялся ему добровольно, мы все знали, кто есть светоч, — и он всеми и всем пренебрег за придворную интрижку. Кому оставил доделывать? В чем преимущества полнокровной радостной жизни, если и она сминается в минуту?

ГЕККЕРН: Я старый, страшный, я зловещий, моя фамилия по-русски пишется через виселицу — это надо же придумать такой резкий графический знак для

такой осторожной — легкий выдох — фонетики: «Г», два «к» — как шеренга солдат — это которая чтобы сквозь строй прогонять, шпицрутенами, палками. Гласные — я все об имени своем, проклятом в этой стране, — одни «е». По русским правилам благозвучия, чтоб о хорошем человеке говорить, нужны «а» да «о», так и светло, и открыто, а с «е» — что-то изо рта сочится, будто яд непроглоченный. Пушкин — на это имя они не нарадуются — я хоть не Екатерина Великая, я не царствовать сюда пришел, но уж графику алфавита посмотреть — отчего ж и нет? — Пушкин им кажется необыкновенно веселым, у них и пушки игрушечные по кремлям стоят, — но в «Пушкине» они прямо-таки потешные, «у» ухаёт преуморительно, «ш» шипит, как праздничная петарда, «и» заливается тонким, высоким смехом. С нами не сравнить. У Пушкина секундант — Данзас, для русского уха похоже на «Дантес», подполковник будет иметь неприятности от безграмотных соотечественников. Ухо Пушкина созвучие такое тоже не пропустило — слова ведь его истинные друзья, взял посаженного друга с именем врага — стрелял как в себя. С собой боролся, с собой стрелялся.

Мог убить меня.

Жорж убил Пушкина у России, Пушкин мог убить Дантеса у меня. Мне нет дела до России, я и не гражданин мира, я присягал только себе. Рухнувший с Жоржем мой мир оставил бы меня равнодушным, как покойника, к чужой славе и горести отечеств. Ночь перед дуэлью — я ее прощать не собираюсь. Мало ли что, что она закончилась благополучно, ночь-то преддуэльная была, я — человек, который ее пережил. Пушкин и предположить не может, что это такое. У него не было в жизни ни одной выделенной, личной, непоименованной, животной привязанности. Всего у него много, целыми собирательными понятиями:

друзья, возлюбленные, дети. Он всех назвал, всех воспел, всех бы и художественно оплакал. Гений бы его не иссяк. Мы с ним с разных планет. У меня ничего нет, и я ничем не дорожу, кроме одного Жоржа.

Каждую минуту кто-то или что-то его может у меня отнять.

Какие-то женщины, родящиеся у него дети, красавицы, красавцы, страны, которым он служит, условности, у которых он в подчинении. Каждая из этих малостей может отнять навсегда. Он не собирается противостоять, потому что он не сделал выбора. Я — не муж и даже не жених, я покамест воздыхатель. Хоть он и уверяет меня в преданности — и жизнью ее докажет, — но по молодости, по любопытству — для него любопытны все еще и женщины — он может уйти и сам. А уж когда кто-то покусится, а когда захочет пристрелить как собаку, просто за то, что было плохое настроение, что не ладилось что-то в работе, что жена была флегматична! Разве не найдут причин: и порычала, и хвост не поджала, не вильнула хвостом. Уж чего только тот господин не претендовал! Игрался в какие-то бирюльки, игрушечные самолюбия, добро бы что-то дельное, сам сочинял стихи, почтения требовал, как сановный царедворец, как европейская знаменитость, как принц крови. Бог знает, какие ребяческие фантазии — и ставил жизнь. Чужую — до его мне дела нет, он мог ею вовсе не дорожить, — в которую он выстрелил. Уже быв раненным, уже своею кровью искупив все, что его душило, он поднял пистолет на другого человека. В тот момент, когда лежал смертельно раненный, когда мог всем и все простить, — в последний миг — Жорж ли был пред ним виноват? из-за чужих мальчиков не умирают, тут счета с самой жизнью — он поднял пистолет на другого, безвинного. Первый выстрел — последний мирской спор дуэлянтов. Кто успеет первым? Здесь есть возможность

показать и здоровый, санитарный прагматизм, и большую спортивность в сноровке, и чисто физиологическое преимущество — в быстроте реакции, и несентиментальное мужское хладнокровие: это ведь мужчинам и на крестьянском дворе доводится приканчивать не пригодное ни к чему уже животное. Борьба за первый выстрел — это их рукопашный бой. После него наступает совсем другой этап дуэли. Раненный, пустивший кровь — наверняка излишнюю, раз он вызывал или даже просто согласился, не нашел предлога увильнуть, получает облегчение от этой терапевтической процедуры, некоторым нужно поставить пиявки погорячее, — видит зримые, алые следы находившейся рядом опасности, он думает о радости предстоящей жизни или готовится вступить в иную. Он бросает пистолет, он стреляет в воздух. Стреляет в воздух и противник промахнувшегося. С выстрелившим в воздух нельзя искать поединка повторно. Стрелявший первым мог получить свой шанс по воле случая, делающий второй выстрел стреляет в безоружного. Непролитая кровь пятнает сильнее, чем победителя начального, до выстрела, честного боя. Я увозил Жоржа из России в санях, зимой, по снегу, брянскими лесами и просторами Польши, разгромленного, как великого императора из бесславного похода с неосмотрительно захваченным трофеем, бросить который было б невозможно. Жена была как шутовской орден, как пинок, как напоминание. Слава Богу, Катишь оказалась крайне тактичной, она не испортила нам ничего, мир ее праху.

Когда-то она казалась мне страшнее пистолета, страшнее Пушкина. Пушкин хотел прекратить все — свою и наши жизни, но решить все в один миг, Катишь хотела жить с нами долго и умереть в один день. Пушкин хотел бросить Жоржа в кровавый снег и оставить нам его обмывать и оплакивать, целовать в

лоб. Катя хотела дергать его за ниточки и поругать всю жизнь. Не быть внешним обстоятельством, а раствориться ядом по всему телу. Она была — хуже.

М-ме Пушкина меня не сильно-то и пугала. Жорж написал тешащее пушкиноведов влюбленное письмо о ней. Разве я деспот? Разве я не радуюсь счастью мальчика, его чувствам, его горячей крови? Это мой мальчик, он волен веселиться. Все, что он отдал, что получил, все это бьется в нем, и все это он принесет мне. Я не был бы тем, кем я стал, если б я не умел сразу распознать ревность, назвать ее, дать ей покружить в крови и заново сказать себе: я его уже завоевал, я должен радоваться его малым радостям и думать о том, как мое непонимание его влечений к женщинам, мою жадность к расточаемым им в пустоту и дебелость ласкам, мое раздражение наглостью и толстокожестью этих женщин — как все это я переведу на только нам с ним понятный язык и как, с какой силой, правом и нежностью дам ему все это понять.

Мимолетная ревность — это не моя боль, я снисходителен. Это — моя сильная сторона, жалки старики, тянущие молодых только к себе, устраивающие сцены, их не будут любить. Меня Жорж любит. Другое дело — ревность ко всей будущей жизни. Кривляка Натали, игрушка фортуны Катишь — как-то их стало многовато, как-то Жорж стал придавать им слишком серьезное значение, как-то повернется все?

Я переживал его молодость тяжело. Когда стал становиться зреее и он — мне уже было спокойнее. Нашим привязанностям не изменяют, от женщин с возрастом отходят безвозвратнее. Ты стареешь, но ты не забываешь, как это — любить тех, кто молод. Какая у тебя может быть женщина? Отвратительны дряблые старухи, холодны, меркантильны молодые девушки, грязны и грубы продажные молодки. Только восхищенный юноша открыт для любви. Это — наш

идеал, наш романтический идеал, легкая фривольность в нашей размеренной, трезвой и чистой жизни. Горе тому, у кого нет такой привязанности, кому приходится ревновать в такие лета, ревновать последнего и самого главного. В нашей жизни нет другого оправдания, кроме любви, а брачные чертоги с Катей, венцы и прогулки с нею под ручку по петербургским набережным — это как горькая нота в сладком вине, только изысканней вкус.

ГОСТЬ НА БАЛЕ: Есть ли наука, которая не умножит скорбь? Самые естественные, точные только приближают отчетливое ведение небытия, конца всего и того, когда ничего не было. Чем фундаментальней твое исследование, тем философичней твой результат. Взвешиваешь микроны — получаешь ответ: Бога нет. Иначе зачем ему возиться с такой малостью, как наша жизнь? Жизни не было, нет и не будет. Кто развлекался этой секундой, в которую мы наворотили столько нашей упорядоченной истории, зачем нас народилось столько и каждый о чем-то мечтал? Какую науку ни возьми, хоть гуманитарную. Кто-то станет пушкинистом — к какому выводу он придет? Что Пушкина нет и не было, а если б и был, то тем грустнее. Ядро Земли горячее Солнца. До Солнца — световые расстояния, до ядра — пять тысяч километров. Можно за три месяца дойти пешком. Самые фантастические космические видения, модели Вселенной и прочее — можно пощупать рукой и потоптать пятками. Все здесь. Пушкин — божество. Его можно пощупать, убить из пистолета и можно забыть. Ядро греет всех, а поклониться Пушкину можно, только будучи русским. Един ли Бог?

Наше мироустройство, вероятно, не самое лучшее. Не самое оптимистичное, жизнерадостное, знающее концы и начала. Наверное, есть какие-то системы, где все живет только мгновеньями и безмерно счастливо

всем, что случается, — космическими столкновениями, катастрофами, зарождениями и гибелями. Это — цивилизация богов, постоянно создающих. Пушкин захотел увидеть результат — он стал смертным. Почему не захотел остаться в божеском процессе творения — он-то был явно из тех, других, — почему захотел зафиксировать результат? За такое сразу убивают, это ясно.

МАСКА: Смертных много, о богах мы не думаем. Для чего Пушкин? Он стоит на границе, видит — что там, куда он хочет прийти или вернуться, кем умереть, — и заставляет это увидеть и нас. Это — заслуга. Именная заслуга, личная, имеющая имя и отчество, портрет на обложке учебника.

ПУШКИН: Я памятник себе воздвиг.